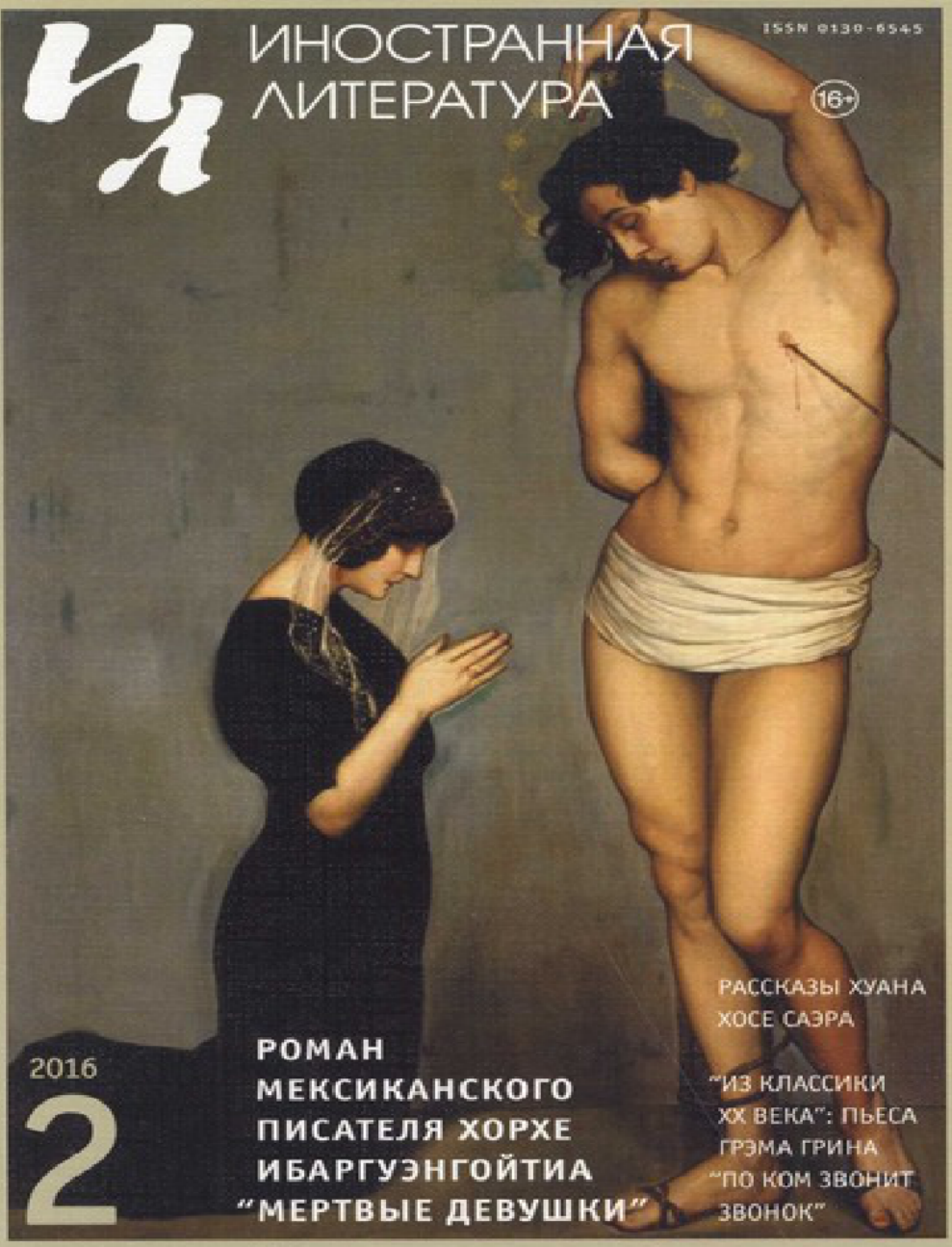
ISSN 0130-6545

ИЛ ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+



РАССКАЗЫ ХУАНА ХОСЕ САЭРА

"ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА": ПЬЕСА ГРЭМА ГРИНА "ПО КОМ ЗВОНИТ ЗВОНОК"

РОМАН МЕКСИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТИА "МЕРТВЫЕ ДЕВУШКИ"

2016
2

Основан в 1955 году

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В рубрике «Документальная проза» — фрагменты книги «Лжетрактат о манипуляции» Аны Бландианы, румынской поэтессы, почетного президента румынского ПЕН-клуба, директора-основателя Мемориала жертв коммунизма и проч. Тоталитарный опыт, родственный отечественному. «И к победам моей жизни я приписываю моменты, когда те, кому не удалось меня испугать, в итоге пугались сами…» Перевод Анастасии Старостиной.

- Ана Бландиана
  - Биография навязчивой идеи
  - Одно происшествие
  - Чужбина
  - Другой народ
  - Сироты
  - На автобусной остановке
  - Гриб на половичке
  - Машина у ворот
  - Попадая впросак
  - «Проекты на прошлое», история о цензуре
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Ана Бландиана
Лжетрактат о манипуляции
Фрагменты книги

Биография навязчивой идеи

Эта книга — не мемуары, даже если иногда она оставляет такое впечатление. Это попытка не рассказать свою жизнь, а понять ее. Поэтому описываемое расположено не в хронологическом порядке, но следует логике аргументации и связано между собой по ассоциации мотивов и по сплетению навязчивых идей. Через селекцию (которая не могла не быть тенденциозной) навязчивые идеи свелись, в сущности, к одной, и формулируется она так: насколько то, что я пережила, есть акт моей воли и насколько оно обязано влияниям, давлению, которые оказывались на меня, и манипуляциям со мной? Даже когда я делала что-то как бы по собственному убеждению…

Я никогда не записывала ничего, кроме идей; факты казались мне всегда неважными, а мое собственное становление достойно интереса только как функция тех страниц, записав которые, я смогла спасти их от небытия. Итак, то, что я пытаюсь сделать сейчас, не есть описание какой-то известной истории, но исследование неких происшествий с точки зрения мучающего меня вопроса, с которого я начала и который, подобно магниту, гуляя по россыпи железных опилок, упорядочивая их, придавая им форму, структуру и смысл, может изменить не только перспективу, но и содержание рассказа. Конечно, предмет исследования — это я сама, но тут мне кажется важным не только рассмотрение моего *казуса,* а куда важнее, чем примеры, чем ответы на вопрос, кто кем и как манипулирует, та истина, что в центре всех сил, вещей, фактов, происшествий, персонажей, подобно черному солнцу, распорядителю миров, которые оно вынимает из хаоса, чтобы подчинить себе, — само желание манипулировать. И это не изобретение новой истории. Известно, что индийский царь Ашока (273 г. до н. э.) учредил секретное общество из девяти мудрецов, которые обладали всей мудростью мира, и каждый отвечал за одну из областей знания. Первенствовали техники пропаганды и манипуляции массами — всемогущая наука, с помощью которой, овладев умами толпы, можно было править миром…

Одно происшествие

Записка Генеральной дирекции прессы относительно запрета моей второй книги, «Уязвимая пята», — записка, опубликованная Марином Раду Мокану в 2002 году в сборнике документов о цензуре, так и озаглавленном «Коммунистическая цензура», — в свое время была известна мне только по ее последствиям, что естественно, поскольку речь идет о секретном документе, и, признаюсь, своим злопыхательством она не привлекла бы моего особенного внимания. «…Цензор пишет, что сборник „Уязвимая пята“ Аны Бландианы *не может, быть одобрен к печати.* Записка датирована 10 мая 1966-го. Сборник Аны Бландианы, тем не менее, вышел в том же 1966 году…» Последняя фраза заставила меня вспомнить, среди бесчисленных эпизодов, драматических или просто досадных, касающихся отношений моих текстов с цензурой, именно этот.

Я год с лишним как подала сборник в издательство («Эдитура пентру литературэ»), то же, что опубликовало в 1964 году мой первый сборник в коллекции *Лучафэр* (в которой дебютировали Никита Стэнеску, Чезар Балтаг, Илие Константин). Рукопись прошла стадию разнообразных обсуждений, которых сейчас уже не помню, помню только, как упорствовала, чтобы ничего не меняли, и страх, как бы не повторилась ситуация с первым сборником, который в печатном виде стал — не только из-за вычеркиваний, но и из-за добавлений — очень мало похож на то, чем был изначально, и вот уж которым, несмотря на хороший прием у критиков, я отнюдь не гордилась. Таково было положение дел, когда из Клужа, где я жила, меня вызвали к директору издательства, что ничего хорошего не предвещало. И в самом деле, когда после ночи в поезде я добралась до бульвара Аны Ипатеску и директор издательства Ион Бэнуцэ принял меня благосклонно, даже предупредительно, как будто я была чем-то больна и не знала об этом, он сказал мне, что рад со мной познакомиться, потому что всегда рад знакомству с талантливой молодежью, к которой я несомненно принадлежу, и что не надо терять мужество и бросать писать, даже если этой книге не суждено выйти в свет. «Почему?» — удалось мне выдавить из себя, при столь скором переходе от похвал, которых я не ждала, к катастрофе, тотальность которой не предвидела. А он объяснил мне с очевидным сожалением, почти по-отечески, что мой сборник слишком безрадостен и лишен оптимизма и не может поэтому быть напечатан в той форме, в какой представлен. Говоря, он заглядывал в бумагу, которая должна была быть той

самой *Запиской* дирекции прессы, обнародованной много лет спустя, и он читал по ней криминальные заголовки с пояснительными аргументами. Сейчас, когда я читаю ее сама, меня потрясает, даже без финального приговора, видимость литературной рецензии, приданная документу. «В нескольких стихотворениях сборника эти чувства и идеи превращаются в настоящий крик протеста. Страстный протест поэтессы против конформизма и компромиссов большинства, против тех, кто молчит, все принимает и кому, вопреки их довольному виду, страшно, сопровождается чувством раненой гордости, беспомощности, боли», — говорится, например, в одном месте, и, хотя неподписанный, обвинительный текст сочинен профессионалом, однако же профессионалом, который приводит аргументы наизнанку. Фразы, которые директор издательства, несколько конфузясь, зачитывал тогда мне, только погружали меня в замешательство, поскольку я не понимала, идет ли речь о продолжении похвал или об аргументах для отклонения рукописи. В конце концов, протянув мне папку со стихами, Ион Бэнуцэ сказал, что семь из них (и показал пометки в содержании) не могут быть опубликованы ни под каким соусом, а остальные можно спасти объяснительным предисловием, оправдывающим их пессимизм. Это был явный знак благорасположения, и только от меня зависело, искромсаю ли я свою книгу или сочту, что ей не быть.

Я вышла в помпезный холл с деревянными панелями на стенах и села на банкетку в углу, держа папку на коленях. До поезда в Клуж было еще очень много времени, я тут никого не знала и просто терялась, что мне делать. Стала перелистывать страницы, испещренные замечаниями, отчасти стертыми, — следы каких-то давних разборок. Отвергнутые стихи (7 из 23) были самые лучшие в книге. По-моему, я заплакала.

— Что ты тут делаешь, девочка? Что случилось? Почему ты плачешь? Как тебя зовут?

Эти вопросы задавала мне молодая блондинка одновременно доверительным и авторитарным тоном. Я ответила, еще не зная, кто она такая. Она была редактором в отделе прозы, и звали ее Джорджета Димисяну. Она взяла у меня папку и открыла на содержании. Криминальные заголовки были отмечены крестиком.

— Посмотрим, что можно сделать, — сказала она как-то безлично и, не спрашивая меня, вычеркнула их решительной чертой.

— Нет! — попыталась я остановить ее. — Я не хочу от них отказываться!

— А кто тебя заставляет отказываться?

И она спокойно, почти дидактично объяснила мне, что мы передвинем эти стихи в другие места содержания, сильно исчерканного исправлениями. Никто не будет больше вникать, все будут проверять только, были ли вырезаны отвергнутые. Кому придет в голову, что мы посмеем сделать что-нибудь такое? Одно из стихотворений, «Героическая поэма» (которое начиналось строфой «Все собаки в стране были надежные. / Они кусали только врагов своих хозяев. / Они носили свою цепь элегантно, как ожерелье. / Их владельцы постоянно обсуждали, какую цепь они будут носить на будущий год»), все же было отложено в сторонку, чтобы не слишком уж искушать судьбу.

После чего она усадила меня перенумеровывать по новым поправкам всю рукопись, объясняя, какое это везение, что меня вызвал сам директор: он человек порядочный и к тому же бывший рабочий из гривицких вагоноремонтных мастерских, так что ему нечего бояться, его никто не подозревает и не проверяет. Если бы со мной разговаривал чин пониже и с тараканами в голове, было бы сложнее.

Я нумеровала страницы, не веря, что все это происходит на самом деле. Не могло все быть так просто — надо лишь иметь смелость рискнуть и, главное, не воображать, что кто-то непогрешим. Когда я закончила, Джета Димисяну взяла меня за руку и снова отвела к Иону Бэнуцэ.

— Сидит в холле и плачет, — весело сказала она ему, как будто меня там не было, и они говорили только между собой, как взрослые. — Я ее убедила принять сокращения, а через два дня она пришлет нам и предисловие.

После чего они заговорили о его последней книге стихов. Все казалось улаженным, и все было один сплошной абсурд.

«Я думаю, единственное определение поэзии, которое меня не оскорбило, которое не переодевало меня в вульгарного клоуна или в Коломбину, которое успокоило меня, примирив с собой, была фраза Карла Сэндберга „Поэзия — это дневник морского животного, которое живет на суше и хотело бы летать“. Я восприняла эти слова как утешительную формулировку фатальности, как акт признательности своей судьбе, подписанный поэтом», — так начиналось *Предисловие,* которое я послала в редакцию через два дня и которое, благодаря доброжелательности техреда, госпожи Танцы Вулкэнеску, было поставлено на клапаны обложки, чтобы оно не выглядело совсем уж ненормальным. И — невероятно, но факт — книга вышла, и никто ничего не заметил. (Сейчас, когда я постфактум узнала лучше механизмы цензуры, происшествие кажется мне еще более невероятным, чем тогда. Единственное логическое объяснение —

в той мере, в какой у абсурда может быть логика, — это что надежность политической позиции директора издательства важнее правил. Что еще раз доказывает, до какой степени репрессивная система, какой бы организованной и непогрешимой она ни казалась, была глубоко субъективной, а значит, уязвимой.)

Однако, сочтя, вероятно, что переусердствовало, везенье решило дать к этому происшествию постскриптум. Среди рецензий оказалась одна, в «Газета литерарэ», подписанная Корнелем Регманом, — неожиданная честь для такой начинающей, как я. А в этой рецензии К. Регман цитировал строфы из тех нескольких вычеркнутых стихов, а один стих даже дал целиком. Я так и не узнала, обнаружил ли это кто-то из дирекции прессы и поставил на вид Иону Бэнуцэ или он сам случайно прочел рецензию? Склоняюсь ко второму. Меня снова вызвали к нему. Какое-то время, которое показалось мне бесконечным, он смотрел на меня с грустью, ничего не говоря. Потом поднялся тяжело, по-стариковски, подошел, как будто хотел сказать что-то по секрету, и в самом деле сказал, в некотором роде конфиденциально, понизив голос до шепота: «Я тебе доверял, а ты меня так подвела…» Но в его тоне не было обиды, а только все превосходящая грусть.

— Простите, пожалуйста, — произнесла я в смятенье, уставясь глазами в пол. — Мне очень жаль. — И добавила: — Благодарю вас за книгу.

А он ответил:

— Вот уж о чем жалеть не надо.

Парадоксальным образом заключение у этого воспоминания с хеппи-эндом неоптимистично. То, что сделали для меня тогда Джета Димисяну и Ион Бэнуцэ, доказывает, что и тогда при смелости и кураже можно было что-то сделать. И хотя вся эта история выглядит какой-то невероятной и абсурдной, она свидетельствует о том, что иногда происходили такие происшествия, которые в гораздо большей степени, чем я думала, зависели от личности человека.

Из моего рассказа не следует, что цензура была не такой уж зловещей, а только то, что каждая книга имела свою судьбу, и непредсказуемости в ней соседствовали с риском. И нередко Господь Бог вмешивался, когда казалось, что надеяться не на что. Современная румынская литература не есть «продукт цензуры», как категорично утверждал кто-то, но скорее результат сопротивления цензуре.

Мне хотелось бы вернуться из этого погружения в то время к сцене, произошедшей много позже, в 1985-м или 1986 году, в одном продуктовом магазине. Это был последний раз, что я

видела Иона Бэнуцэ. Была зима, острый недостаток продуктов, период карточек на постное масло, на сахар и бесконечные очереди «без локомотива», то есть люди просто выстраивались и ждали, не представляя, когда и что выбросят в продажу. Продуктовые магазины превратились в алтари голода и унижений, с обязательным ежедневным их посещением. Один магазин по улице Брезояну, на задах блочного дома на Дворцовой площади, был попросторнее, чем другие, и прославился длиной и переплетением очередей, которые, сформировавшись в разных отделах, скрещивались, переплетались, перемешивались, что порождало во всеобщей толчее, сутолоке и напряженности частые скандалы и даже драки. Войдя, я почувствовала, однако, что происходит что-то необыкновенное. Толпа замерла, ее больше не сотрясали волны, образуемые напором тех, кто хотел двигаться поживее, и в невероятной тишине, овладевшей залом, битком набитом людьми, слышался всего один голос. Сначала я не поняла, *что* он говорит и кто это говорит из сотен тесно стоявших людей. Я попробовала протиснуться к тому месту, откуда доносился голос, и, к моему удивлению, мне дали пройти, как будто люди испытали облегчение, что кто-то еще разделит с ними *ответственность по слушанию.*

— Я должен просить прощенья у вас всех, — кричал голос, который теперь я слышала ясно, — за то, что мы живем, как живем, за то, что толчемся здесь, как сельди в бочке, и надеемся, что нам бросят кусок мяса или сыра. Я должен просить прощенья у вас, так как я был среди тех, кто должен нести ответственность за то, что происходит сегодня. Я боролся за то — до чего мы сейчас дошли. Я был коммунистом, подпольщиком. Я и такие, как я, виноваты, что мы принесли коммунизм.

Очевидным образом слушателей все больше и больше пугало то, что они слышали, и в каждом из них происходила борьба, которая могла бы быть комичной, если бы не вызывала брезгливости, — либо слушать, что было боязно, либо уйти, что означало потерять место в очереди. Я продолжала пробираться вперед и скоро добралась до места, где люди раздвинулись, отшатнувшись от человека, который кричал. Это был Ион Бэнуцэ. Не похоже было, что у него нервный срыв, — только сильное раздражение. Я не видела его много лет (в 1969-м его перевели в дисциплинарном порядке в журнал для крестьянства), — он выглядел гораздо старше, чем я его помнила. Судя по всему, он меня не узнал, поэтому я подошла, сказала, как меня зовут, и взяла его под руку — проводить к выходу. Перед нами образовалось что-то вроде коридора, по краям которого люди смотрели на нас с облегчением, радуясь, что можно вернуться к

прерванным заботам об очереди. На улице было скользко, сыро и холодно. Я спросила, не проводить ли мне его до дому, и он ответил, что живет совсем рядом. Прежде чем расстаться, мне захотелось поблагодарить его за книгу, выходом которой два десятилетия назад я была обязана ему. Он улыбнулся, явно ничего не припомнив. Это происшествие, совершенно очевидно, не было в его жизни чем-то уникальным.

Чужбина

Один из вопросов, который мне чаще всего задавали на протяжении многих лет как до, так и после 89-го: почему я не осталась за границей, когда вполне могла это сделать, почему не эмигрировала, а неизменно возвращалась вопреки всему, что происходило в Румынии, и всему, что происходило со мной. Те, кто об этом спрашивал меня за границей, были люди, которым удалось уехать, заплатив годами унизительных усилий, отчаянных попыток, а иногда и тюрьмой, за одержимость жить в свободе. Да и в самой стране были люди, которые все отдали бы, чтобы уехать, но им не хватало храбрости или у них не было случая рискнуть. Как бы ни отличались они друг от друга, ни тем ни другим было не понять, что мне просто-напросто не приходило в голову, что я могу навсегда уйти из дома. Мне никогда не доставляло удовольствия отвечать на этот вопрос, потому что в ответе было бы слишком много нюансировки, слишком много личного и даже чересчур патетики, чтобы его по-настоящему поняли. К тому же он мог бы быть оскорбительным для тех, кто его выслушивал, поскольку их жизнь преступила законы, которые определяли мою жизнь.

Вначале, помню, я отвечала кратко: «У меня никогда не было этой проблемы». Потом, со временем, вопросы принудили меня эту проблему обдумать, побуждая найти ответы для себя самой. Сейчас, когда я пытаюсь изложить их, — в некотором роде систематически, в порядке важности, — я снова вижу, что их не так-то легко было произнести.

Думаю, что первый и самый очевидный из них, это то, что такой меня сотворил Господь, что, подобно растениям, есть люди, для которых глубина корней определяет все, и есть другие, которые могут жить без корней. Я родилась в первой категории. Как ни слабы были мои логические аргументы, я твердо знала, я была убеждена, что, если — по обстоятельствам, не зависящим от моей воли, — я была бы вынуждена уехать окончательно, без права когда-либо вернуться, я бы не смогла этого пережить. Просто-напросто умерла бы. Даже и теперь, много лет спустя, мне неловко признаваться в этом убеждении не потому, что я не столь уже уверена в его истинности, сколько потому, что эта истинность кажется неудобной и неуместной, не вяжется с обычными мерками — как сегодня, так и тогда. Впрочем, то, что сначала было только ощущением, нашло, когда я узнала атмосферу эмиграции, логические аргументы и точки опоры. Я абсолютно уверена, что не осталась бы в живых. Второй мотив

был не столь личный и не столь трудно объяснимый, как первый, но почти такой же категоричный. Мне казалось, что, уехав, я легитимизирую Чаушеску, оставлю страну ему, тому, кто тем самым докажет, что он более представительный для румынского народа, чем я, та, которая страну бросает. Вот этого я допустить не могла. Я отдаю себе отчет, отдавала и тогда, что эта казуистика в большой мере была абсурдной. Тому доказательство — что я не осмелилась никогда ни с кем ею поделиться, хотя чувствовала ее правильность. Народ целиком никогда не уходит из дома, какой бы большой ни была беда. Те, кто уходит, спасаются, кто как может, молчаливо отмежевываясь от тех, кто остается, уже одним своим решением отказываются разделить с ними судьбу. То, что Чаушеску превратил любовь к родине в позорное и корыстное циркачество, для меня не стало достаточным основанием не любить свою страну, но достаточным — чтобы не позволять себе говорить об этом. В моих ответах на навязчивый вопрос всегда присутствовала неразрывная связь со всем, что я должна была бы оставить дома, и я обходилась молчанием, как будто это было стыдно — любить ту же страну, которую, как он утверждал, любит Чаушеску.

Третьим мотивом, выходящим за пределы каких бы то ни было сомнений, и тоже невысказанным, было опасение, что, уехав из дома, я не смогу писать. Это было только предчувствие, основанное на том, что в те короткие периоды, когда я уезжала из страны, я не писала ничего, кроме дневников. Предчувствие, возможно, и абсурдное, содержало зерно страха, от которого я не могла отделаться. Только после 89-го, когда я путешествовала много и написала много как раз за границей, я поняла, что этот страх был связан не с тем, что я какое-то время буду не дома, а с невозможностью когда-либо вернуться домой. То, что я не смогла бы вернуться, способствовало бы литературной стерильности, в этом я и сейчас уверена. Невозможность вернуться — настоящая причина моего неотъезда из дома — была, очевидным образом, и ядром трагедии, которую, так или иначе, переживал каждый уехавший. Этим, впрочем, объясняется и то сочувствие, которое одолевало меня всегда к живущим в эмиграции, независимо от того, каким они пользовались успехом или насколько адаптировались к своей новой родине. Я сочувствовала им, по меньшей мере, так, как сочувствовали мне они, и не раз у меня сердце разрывалось при расставании, может быть, думала я, больше не удастся увидеться: им было жаль меня из-за того, что я возвращаюсь, мне было жаль их из-за того, что они этого сделать не могут.

Удивительным образом Эмиль Чоран первым из румын на

чужбине пробудил во мне жалость.

В 1967 году нас — Штефана Бэнулеску, Марина Сореску и меня — пригласили на международный литературный коллоквиум в Париж. Это приглашение, наряду с подпиской на «Express» и «Nouvel Observateur», которые возникли из небытия, стало одним из почти чудотворных знаков открытости, в которую мы едва смели поверить и которой суждено было продолжаться не более пяти-шести лет. Прибывшие в Париж, как с другой планеты, мы обнаружили, что на мероприятие, в котором мы участвовали, были приглашены, кроме писателей из разных стран Европы, и писатели-эмигранты из тех же стран. Тогда-то я и встретила впервые во плоти людей, которые до тех пор были для меня только боготворимыми, уважаемыми, волнующими именами, сочинениями и голосами. Тогда-то я узнала всех, кто имел вес в румынской эмиграции Парижа, и то, что кажется мне сейчас довольно-таки странным, тогда произошло без всякой преднамеренности — мы по-братски упали друг другу в объятия чуть не плача, не как при первой встрече, но как после долгой разлуки. Но поскольку «живые классики» не участвовали в коллоквиуме, Штефан Бэнулеску, по-моему, попросил Монику Ловинеску поговорить с Эженом Ионеско, чтобы он нас принял. А Эжен Ионеско при нас попросил о том же Эмиля Чорана. «Не примешь ли трех писателей, из наших», — помню, сказал он, и нас удивило, что они говорят по-румынски, на языке, которым, как мы слышали, Чоран пользоваться отказался. И еще я помню, что анонимность, которая могла бы нас раздосадовать, утонула и растворилась в свете волнующей формулы «из наших».

Мы поднялись на шестой этаж в знаменитую мансарду на рю Одеон, не удивившись (удивлению суждено было прийти с годами, когда я думала о возрасте того, кто поднимался туда по нескольку раз на дню), и оказались в комнате, чью строгость я почти не заметила, привлеченная роскошью вида на крыши Парижа, которые простирались под окном. Потом по комнате проплыло много ангелов, с трудом шевеля веслами. И тогда, чтобы нарушить молчание и сгладить неловкость, Штефан Бэнулеску сказал, улыбаясь и указывая на меня, как на спасительное решение:

— А знаете, она тоже, как и вы, арделянка.

— Арделянка? — Чоран в первый раз взглянул на меня с вниманием. — Откуда?

Я сказала, что родилась в Тимишоаре, выросла в Ораде и сейчас учусь в Клуже, в университете.

— А в Сибиу ты была когда-нибудь? — спросил он с таким видом, как будто подвергал меня экзамену, который я наверняка

не выдержу.

— Была на прошлой неделе, — ответила я.

— Ты была на прошлой неделе в Сибиу? — повторил Чоран, вдруг повысив голос, поднимаясь со стула и подходя ко мне, как будто хотел меня потрогать. Совершенно очевидно, что мой ответ нажал на таинственную клавишу, которая запустила в ход скрытые механизмы. Покрутившись вокруг стула, на котором я сидела, конфузясь и чуть ли не в испуге, он начал бомбардировать меня вопросами о разных улицах и разных зданиях в Сибиу, вопросами, на которые я не всегда знала ответы, а не услышав ответ, он повторял упорно, почти в упоении, как стихотворение или констатацию некоего чуда: «Ты была на прошлой неделе в Сибиу…». Было что-то тревожное в том волнении, с каким Сибиу взорвался в нем, привел в почти невротическую ажитацию. В какой-то момент он спросил, знаю ли я, что такое «Римский император».

— Ресторан и отель, — бойко ответила я, как будто вытянула билет по теме, которую знала. — Я пила там кофе с коллегами из Сибиу.

— Она была в «Римском императоре», — обратился Чоран к остальным, указывая на меня, как на музейный экспонат, и с таким видом, как будто он переводил то, что я говорила. — Она пила там кофе с коллегами из Сибиу.

И он принялся расспрашивать меня, какие там стулья, столы, обои на стенах. Он приводил детали, которые я должна была подтвердить или не подтвердить. И ходил взад и вперед по комнате, повторяя, как в трансе: «Она была на прошлой неделе в Сибиу, она пила кофе в „Римском императоре“». Я ощущала растущую неловкость, став ни с того ни с сего главным героем, и, пока мы, все трое, несколько озадаченно следили за ним взглядом, я вспомнила, что надо было бы говорить по-французски. Это совершенно вылетело у меня из головы. Пока вдруг что-то не щелкнуло в моем мозгу. Потом, помню, я подумала, что, если бы я была не в Сибиу, а в Рэшинари[1]? Так или иначе, ни до ни после, мне никогда не случалось присутствовать при таком бурном взрыве ностальгии, при таком разрывающем душу всплеске драмы невозможного возвращения. Я ощущала себя чуть ли не виноватой в том, что мне так повезло и я могу ездить в Сибиу, сколько хочу, и каждый раз, как я бывала там после, я старалась посмотреть на город глазами того, кто грезил им, зная, что не увидит его никогда иначе как сквозь экзальтированные очки этой ностальгии, от которой он, сочиняя, защищался, выворачивая ее наизнанку, в ожесточении облачая в кощунство.

Все, что я читала потом из Эмиля Чорана, все упоминания о румынах, часто оскорбительные, были отмечены нестерпимо яркой аурой этого случая и в ее болезненном свете приобретали другие смыслы, часто опрокинутые вверх дном. Как будто бы злая фея — как это бывает в сказках — явилась при его рождении, и, после того как Чоран получил все дары, он получил и наказание ненавидеть все, что он любит, и отрекаться ото всего, с чем безнадежно связан. Любовь, поставленная с ног на голову, — как колонны, капителью книзу поставленные в основание храмов Эхнатона, — мучила его всю жизнь и отметила темным, завораживающим блистанием все его творчество. Когда он выражал восхищение, безмерное благодаря его таланту, нашими коллегами с Запада, он прекрасно понимал, что вызовет этим горечь у соотечественников-арделян; точно так же, когда упоминал о Румынии, он всегда писал «там на Балканах», хотя, конечно, знал не только то, что наши горы называются Карпаты и что Балканы расположены к югу от Дуная, но и что балканизм для его соотечественников есть понятие негативное. Это было как перекрутка любви в неприязнь с тем, чтобы отомстить за зависимость, которую любовь на него налагала и от которой он не мог освободиться, что бы ни делал. И это не только по отношению к этнической матрице, к корням, которые он не мог у себя вырвать, но и по отношению к Богу, которому не мог простить его неоспоримого присутствия. И, главное, не мог простить, что Бог отказал ему в способности чувствовать в себе Бога, что приговорил в одно и то же время к желанию достичь Его и к невозможности преодолеть дистанцию.

Один немецкий профессор, поклонник и переводчик нескольких его книг, с которым он вел интенсивную переписку по проблемам стиля, возникающим на границе двух языков, спросил его раз, что он, в сущности, имеет против апостола Павла, который очевидным образом есть гений. А Эмиль Чоран с его странным, обворожительным юмором, и играя, как обычно, на фривольности, увернулся: «Трудно быть поповским сыном». Помню потрясение, испытанное мной, когда я прочла этот ответ, чуть ли не впервые открывая, как Чоран — с некоторой небрежностью, возможно, тоже нарочитой, — выставлял напоказ раны, которые раньше с ожесточением старался скрыть. Как будто он пытался манипулировать не другими, а прежде всего самим собой, как будто он сам себя подверг унижению, предназначаемому наказать гордыню.

Меня, как дочь священника, шутка Чорана пленила не только тем, как он уклонился от вопроса насчет причин его ожесточения против апостола Павла. Мне показалось, что я давно нашла ответ

на вопрос, который сама мысленно поставила на полях его книг. При всем видимом упрощенчестве, мое предположение было такое: ожесточение представляло собой форму зависти к другому мыслителю, которому, несмотря на его интеллектуальность, не было отказано в вере. Что поразило меня в его ответе, так это свидетельство — возможно, невольное, — что его религиозные корни, как и корни этнические, затрудняли ему жизнь и ограничивали свободу, и это раздражало его не только потому, что ограничения унижали, но и потому, что он чувствовал еще большее унижение от своей собственной неспособности *отграничиться* от них. Сколько бы ни отказывался он говорить по-румынски, сколько бы ни сближались с кощунством его блестящие антихристианские диатрибы, он знал, что речь идет только о попытке манипулировать истиной, которую он знал и от которой, он тоже знал, ему было не отделаться, как бы он ни старался. *Пригорок Боаки*[2] при всей самоироничности тона, каким он произносил это прозвание, вызывал при каждом воспоминании болезненную ностальгическую дрожь, а в блистательности выпадов против апостола Павла из-под рьяного упрямства проглядывало сомнение.

Естественным образом напрашивался вопрос: а то, что я была дочерью моего отца, это когда-нибудь меня угнетало, чувствовала ли я себя когда-нибудь скованной тем, как моя судьба обусловлена дефиницией моего отца? Однако еще не закончив формулировать этот зеркальный вопрос, который был продиктован не недостатком скромности, но, напротив, тревожным смирением, я поняла, что параллель здесь абсурдна, просто-напросто из-за того, что мой отроческий бунт, который нормальным образом должен был обернуться против родителей (как это обычно бывает), в условиях, когда мне ставили в укор мое социальное происхождение (со всеми его религиозными, политическими, философскими коннотациями), перешел в солидарность с ними, с теми, кто страдал и из-за кого страдала я.

Тот факт, что отец сидел в тюрьме, будоражил во мне воспоминания, как он отправлял службу перед царскими вратами. А если бы мне не мешали поступить в университет из-за того, что я была его дочерью, усилив тем самым связь между нами, я, может быть, думала, что крепость семейных уз стесняет меня в моих поступках или что их традиционная банальность не позволяет мне быть самой собой. Дух отроческого противоречия сработал тут в обратном направлении, и я не сомневаюсь, что как атеистическая пропаганда, так и то, что отца уже не было в доме и он не мог передать мне свои убеждения, способствовали, как ни парадоксально, укреплению моей веры в Бога.

Но это в скобках, я отвожу вопрос, который здесь был бы неуместен. Чего нельзя сказать об обоснованности моего сравнения. Как бы я реагировала и как сопротивлялась бы с вырванными корнями и без самой хлипкой надежды снова увидеть единственное место, где могла бы опять прижиться? Может быть, я отрицала, что это место еще где-то существует, и осыпала его оскорблениями, запрещая себе видеть его и во сне, как оно запрещено мне наяву? Но помимо всех этих вопросов, умозаключений и объяснений и даже помимо гениальной красоты страниц (с их болезненной подоплекой), подписанных Эмилем Чораном, в моей памяти остается невероятной интенсивности сцена, которую я пережила в мансарде на рю Одеон, испуганная и неистовством его вырвавшихся из-под спуда воспоминаний, и своим душераздирающим сочувствием.

Встреча с Мирчей Элиаде, семь лет спустя, хотя и совсем другая, оставила по себе то же мучительное чувство.

Мы были стипендиаты в университете Айовы, где много лет действовала международная писательская программа, в которой участвовала и Румыния. Каждый год приглашались два назначенных американцами писателя, по преимуществу семейные пары. До нас там побывали Александру Ивасюк и Тита Кипер, Чезар Балтаг и Иоана Банташ, Констанца Бузя и Адриан Пэунеску, Янош Сас и Ханнелоре Лацина, Штефан Бэнулеску и Михаэла Гуга, Марин Сореску с женой. В том, 1974 году, пригласили нас вдвоем и Петру Попеску, но после того, как уладились все визовые формальности, после того, как мы съездили к нашим мамам в Орадя и Альба Юлию, чтобы попрощаться, с тяжелым сердцем, на девять месяцев, все застопорилось. Вышло постановление, запрещающее заграничные стипендии для румын, если только выбор кандидатов не был сделан румынскими властями. А мы были выбраны американцами. Парадоксально, но первой реакцией стало облегчение. Все треволнения, связанные с отъездом на другой континент, почти на другую планету, с билетом, где была беспощадно проставлена дата возвращения — через три четверти года, — вдруг исчезли. Потом, когда Петру Попеску все же уехал, получив только для себя послабление к новому правилу, нас обуяло возмущение — до чего же была знакома эта тень невидимой железной решетки, тень, падающая к тому же избирательно. К счастью, в отличие от нас, прекрасно понимающих, в чем дело, американцы ничего не понимали и не принимали логику, в соответствии с которой один из приглашенных прибыл, а двое других — нет. И говорили об этом, не унимаясь, требовали объяснений и настаивали. В конце концов, мы тоже отбыли и оказались в Айова-Сити с

четырехмесячным почти опозданием, в канун Рождества. Одной из первых наших забот было написать Мирче Элиаде, чей адрес нам дали Михаэла и Штефан Бэнулеску, которые рассказывали, как Мирча Элиаде разыскивает и приглашает к себе в Чикаго румынских писателей, приезжающих в Айова-Сити, и что из-за нашего опоздания его письмо могло затеряться, а он мог подумать, что мы боимся на него ответить.

В этой казуистике был весь господин Бэнулеску, как и в подробных объяснениях, которые он нам дал о том, как разворачивается жизнь в американском кампусе, и в прямо-таки лирических рассказах о том, как тепло их приняли Кристинель и Мирча Элиаде. Помню, что Михаэла показала мне платье, подаренное ей госпожой Элиаде, длинное ситцевое платье с воланами, отороченными кружевом, как будто взятое из вестерна, и оно мне так понравилось, что я на скорую руку соорудила что-то похожее и весело щеголяла им среди всеобщих джинсов на студенческих вечеринках. Под самый Новый год зазвенел телефон, висевший на стене нашей квартиры в студенческом общежитии, и мы заволновались, потому что у нас еще почти не было тут знакомых, а в трубке кто-то, чей голос, как нам показалось, мы знаем с детства, пожелал нам по-румынски счастливого Нового года. Это был Мирча Элиаде.

Через несколько месяцев, весной, когда мы приехали в Чикаго, нам предстояло провести вместе целый день. Теперь, когда мне примерно столько же лет, сколько было тогда Элиаде, когда я жалею каждую минуту, потраченную на что-то, кроме письма, щедрость, с какой он запрограммировал целый день, чтобы познакомиться с двумя молодыми писателями, прибывшими с родины, кажется мне донельзя трогательной, почти неестественной.

Что меня очаровало тогда, одарив чувством, что я присутствую при таинстве, было ощущение дежавю, которое давала мне и его квартира с диванами, накрытыми коврами, и его манера говорить, определенная модуляция голоса, определенный ритм фразировки, и это доброе лицо человека, который не торопится и располагает временем слушать. Все — я уже писала об этом — напомнило мне мир моих родителей, все носило на себе печать их поколения, поколения межвоенных интеллектуалов, которое исходило из иллюзии, что они — первое поколение, которое сможет заниматься культурой без обязанности ввязываться так или иначе в спасение страны (идея принадлежит молодому Элиаде) и которое испытало — разбросанное по тюрьмам и по чужбине — самую драматическую из всех поколений судьбу.

Из этого дня, проведенного сначала в гостеприимной квартире Элиаде, а потом в университетском ресторане, я помню, что говорили больше мы, чем они, отвечая на нескончаемые вопросы про КАК ТАМ ДОМА, вопросы, которые я не могла бы сейчас воспроизвести, но которые (помню, они меня удивляли) имели мало отношения к политической реальности — вопросы, касающиеся тех подробностей, что должны были помочь Элиаде представить тот мир, с которым он и не пытался порывать, он будто хотел проверить свои сны, где этот мир продолжал жить, чтобы затем перейти в фантастические рассказы. Многие вопросы касались литературных кругов, но не их главных персонажей или партийных интриг между ними (что крайне занимало разные группировки парижской эмиграции), а того, как выглядят журналы, каково их содержимое, какие публикации обсуждает критика, какие есть новые интересные имена, в какой степени он сам еще остается писателем, которого читают на родине. Мы старались отвечать, как могли, и в какой-то момент, когда он стал цитировать краткие отклики на свое литературное творчество, избежавшие цензуры и появившиеся в провинциальных журналах, мы по случайности смогли дополнить историю одного из этих откликов. Это была цитата из статьи Д. Мику, статьи, о которой этот критик с горечью рассказывал нам — как ее кромсали и как не осталось почти ничего из того, что он в ней говорил. Я была просто потрясена, с каким волнением Элиаде воспринял наш рассказ, как и тем, что он знал наизусть самые незначительные фразы, которые его касались. Он, автор с мировой славой, переведенный на десятки языков, основатель новой дисциплины, доктор Honoris Causa стольких университетов на разных меридианах, имел вид старого участника литобъединений, который всю жизнь боролся, чтобы увидеть напечатанной одну свою книгу, и теперь охотится за обрывками хвалебных строчек. Чем еще, как не ностальгией, почти больной тоской по стране, на чьем языке он продолжал писать прозу, можно было объяснить ситуацию, при которой весь мировой успех блестящей карьеры был не в состоянии перевесить ту драму, что его не читали и не признавали дома. Мне это показалось отнюдь не знаком преувеличенного эгоцентризма, как полагает Адриан Марино, который отмечает в своих воспоминаниях сей поистине шокирующий интерес Элиаде К тому, что писали о его книгах в Румынии, а, напротив, приметой уничижения и признания любви к стране и зависимости от нее, неодолимых, как наркотик.

После ужина в университетском ресторане, где было тихо и умиротворенно, — атмосфера скорее библиотеки, чем

ресторана, — госпожа Элиаде настояла, чтобы мы поднялись еще разок к ним сдвинуть в последний раз стаканы, на посошок.

— Я обещала Матею Кэлинеску позвонить, когда вы приедете, и совсем забыла. Он хотел вам что-то сказать, — добавила она.

В самом деле, они рассказывали нам в тот день, что подружились с Укой и Матеем Кэлинеску, которые приехали по обмену в Блумингтонский университет.

Мы поднялись в квартиру, которую оставили несколько часов назад и теперь точно знали, что больше никогда ее не увидим, поднялись с тяжелым сердцем, как перед расставанием, которое, как и вся встреча, имело в себе что-то экзистенциальное. Было поздно, а наш отель — довольно далеко. Как и мы, Элиаде казался грустным — или просто усталым.

Госпожа Элиаде набрала номер и сказала:

— Матей? Даю тебе Ану Бландиану. Я ее известила, что ты хотел ей что-то сказать.

И она передала мне трубку.

По-моему, мы обменялись формулами вежливости, оба в некотором смущении. Мы виделись в Бухаресте давно, задолго до отъезда.

— Ты хотел мне что-то сказать, — напомнила я неуверенно.

— Да, — ответил он погасшим голосом. И, после паузы: — Мы хотели вам сказать, что решили остаться.

Пауза, которая последовала, была подольше, и я была тому виной. Я чувствовала взгляд госпожи Элиаде, и, как в детстве, в горле стоял ком.

— А мы — нет, — ответила я в конце концов потерянно, хотя меня ни о чем не спрашивали. Потом пожелала им счастья в жизни, которую они начинают, и, боясь, что расплачусь, повесила трубку.

Комментировать что бы то ни было я просто не могла. Впрочем, наши хозяева очевидным образом не нуждались в объяснениях. Они смотрели на нас с бесконечным сочувствием. Сочувствие ощущала и я: сострадание к нашему одиночеству — «крепостных на клочке слова»[3], — оставленных теми, кто уехал, уезжает и еще уедет; и сострадание к их одиночеству писателей, жестоко разлученных с их читателями и оставшихся один на один с чужим языком и с чужим миром; сострадание ко всем домашним мучениям и ко всем тутошним, к тем, кто загублен из-за недостатка свободы и к тем, кто загублен свободой. Сострадание ко всем, принужденным выбирать из двух драм с противоположным зарядом, но равных по интенсивности…

Мы расстались, молча обнявшись, зная, что больше не увидимся, хотя, будучи с разных меридианов и из отдаленных по

времени поколений, обнаружили, что смотрим на мир одинаково.

Другой народ

Думаю, не было на протяжении последних десятилетий прошлого века стереотипа, который казался бы мне более унизительным, чем постоянный, навязчивый припев «мамалыга не взорвется». Меня оскорблял не только его смысл, презрение в оболочке китчевой философии, меня оскорбляли чувства, таящиеся за спиной слов, произносимых с грустью — искренней или наигранной, неважно, — но уж точно обозначающей скорее извинение, чем констатацию. Извинение не только за прошлое, но и за будущее.

«Мамалыга не взорвется» — это была аксиома, чтобы обескуражить любое действие и объяснить любую трусость. Не насмешка бог знает каких иностранцев над румынами, но чисто румынская формула, квинтэссенция насмешки над собой, мазохистская самоиздевка, вначале, может быть, и драматическая, но со временем превратившаяся в глумливый лозунг, скорее в подтрунивание, чем в ламентацию. Я ненавидела эту формулу и за то, как ее употребляли, и за то, как она манипулировала людьми, даже если мне казалось, что я не могу, по крайней мере отчасти, отрицать ее истинность.

Много лет спустя, работая в «Мемориале», я узнала, каким ожесточенным было сопротивление крестьян коллективизации. Число крестьянских восстаний превзошло две сотни, иногда их подавляли войсками, беря штурмом села, как редуты неприятеля, и оставляя мертвых тлеть в дорожной пыли в назидание тем, кто остался в живых. Мамалыга взрывалась, выходит, сотни раз, а мы не знали и продолжали скрывать свою немощь под продырявленным пулями щитом лжеаксиомы.

Когда Ромулус Русан сделал экспозицию «Коммунизм и крестьяне», были вывешены панно с фотографиями крестьян, арестованных в начале той эпохи. Фотографии анфас-профиль, снятые для досье, никто не позировал, просто был зафиксирован драматический миг поражения. И все же… я стояла и завороженно, почти с испугом, созерцала их благородство и достоинство, как и их физическую красоту, в ореоле стойкости. Я стояла и смотрела во власти мечтаний и душераздирающего открытия: это был другой народ, не оставалось ни малейшего сомнения, что это был другой народ, что нет ничего общего между сегодняшними лицами, встречаемыми на улице или в телевизоре, лицами людей побежденных, хотя они никогда не боролись, и лицами тех мужчин, с руками в кандалах и все же свободных и продолжающих сопротивляться глазами, на которые

нельзя было надеть кандалы, чертами, которые застыли в почти мифологической горделивости. Это был другой народ, который исчез, не сумев передать потомкам тайну своей внутренней силы. Мы были другим народом.

Сироты

Где-то в начале 80-х годов на Каля Викторией стали появляться расставленные, думаю, что не преувеличиваю, примерно через каждые пятьдесят метров, удивительным образом похожие друг на друга, молодые люди, стриженые и одетые под копирку, с назойливостью, запрограммированной, чтобы броситься в глаза, не остаться незамеченной. Как всякое необычное явление, — как и всякое обычное, впрочем, — это не могло не быть связано с секуритате. Но какой интерес выпячивать себя секретной службе, чьим главным занятием было следить за нами всеми возможными средствами, от микрофонов, вделанных в пепельницы или в телефоны, до друзей, ставших информаторами и подвергающихся, в свою очередь, слежке? Должно было протечь довольно много времени, чтобы я поняла и, главное, смогла признать за этой службой некоторую тонкость, которую трудно связать в воображении с гнусностью и мерзостью, с воплощением низости и грубости. Собственно, в области зла — каково различие между тонкостью и коварством? Секуритате не отказалась ни от одной из своих классических практик, которыми она ухитрялась держать под наблюдением и контролем все общество. Появление «ребят с Каля Викторией» — как я окрестила их в одном стихотворении — не подменяло собой ни один из методов, существовавших десятилетиями, но дополняло их в новом духе, более рафинированном и хитроумном. Потому что эти молодые люди были уже не секретными агентами, обязанными следить, рапортовать и карать, но, напротив, — экспонатами некоей силы, которая решила не действовать, раз она могла устрашать просто своим присутствием. Они не таились, не нуждались в *прикрытии,* напротив, они должны были быть замечены, видны и опознаны, должны были давать знать, что они существуют, и самого их существования достаточно, чтобы определить все. Таким образом институция, которой они принадлежали, могла больше не утруждать себя подавлением бунта, ей довольно было просто показаться, чтобы помешать бунту произойти.

Как в древнекитайской медицине ролью медика было не лечить болезнь, но предотвращать ее, так вызывающим выставлением напоказ этих молодых людей, *оформленных,* чтобы их можно было распознать, секуритате превратилась в превентивную службу. Так она изобрела самый эффективный, самый ядовитый и самый тлетворный из страхов: превентивный страх. Все, что она продолжала делать по линии

информирования, по карательной или репрессивной линии, адресовалось к современникам, тогда как профилактическая деятельность, форма предвидения, была направлена в будущее — служила своего рода векселем.

Поскольку жили мы недалеко, мне случалось часто проходить по Каля Викторией — с захватывающим чувством, что мне выпадают мгновения, когда я могу рассматривать молодых людей, мимо которых проходила, не будучи замеченной. Они стояли, как правило, руки за спину и чуть расставив ноги, на краю тротуара, лицом к мостовой, так что при всем своем желании не могли надзирать за теми, кто проходил за их спиной. Мне случалось иногда придумывать предлог для продления маршрута, чтобы разглядеть их. Они не только были подстрижены, одеты и обуты под копирку, но и более или менее сходны по телосложению и цвету волос, и, главное, по выражению лица, а точнее, по отсутствию всякого выражения, что делало их похожими на отлично сварганенных роботов с одной и той же программой. Они смотрели через дорогу на другой тротуар, но не то чтобы выслеживали кого-то, а как бы просто ничего не видели. Глаза у них были совершенно неподвижны, что говорило об усилии воли, тревожило и, независимо от их миссии, внушало род беспокойства — не страх перед институцией, которую они представляли, а что-то вроде дурного предчувствия, не только непонятного, но и непостижимого. Именно поэтому мне было бы трудно описать их точнее, я только знаю, что их костюмы, пусть и цивильные, подчинялись четким линиям военного кроя, и, хотя неподвижность и форменная одежда придавали им вид объектов безучастных, без воли, как из музея восковых фигур, я чувствовала, что, если понадобилось бы их нарисовать, надо было бы провести вокруг них концентрические круги, чтобы обозначить волны негативной энергии, которую каждый из них излучал. Единственное, что я помню в точности и могла бы описать в подробностях, — это их ботинки. Ведь я по большей части проходила мимо, опустив глаза, и заметила, что ботинки не только были одинаковые, но и сложно устроенные, специальные, с особой игрой дырочек, которая повторялась у всех, так что исключала случайность их похожести. И эта в общем-то комическая подробность (я представляла себе, как Министерство внутренних дел заказывает огромную партию одинаковых ботинок вычурной модели), вместо того чтобы разрядить ситуацию, вносила в нее лишнюю напряженность, добавляя к главной тайне деталь, еще более необъяснимую.

Когда через несколько месяцев я узнала доподлинную историю этих неестественных молодых людей, «ребят с Каля

Викторией», они стали для меня не только специфическими членами изощренной и перфекционистской секретной службы, но и субъектами дьявольских проектов, встающих из кругов ада еще более глубоких и страшных, чем политические. Я узнала: их необычный вид имел причины глубоко экзистенциальные, и они не шли ни в какое сравнение с расчетами каких-либо институций. Но именно то обстоятельство, что институция посмела смешивать и эксплуатировать эти причины, и вызывало содрогание. Странные молодые люди были похожи друг на друга не только потому, что были стрижены, обуты, воспитаны и инструктированы одинаково, но и потому, что их происхождение обусловило и общую для каждого из них трагедию. Не страна, не партия, не секуритате, а сам Господь Бог породнил их трагедией, которую они не вполне осознавали, потому что им не с чем было, в сущности, сравнивать.

Это были дети, взятые из сиротских приютов и воспитанные так, чтобы стать тем, чем они стали. Сколько сатанинской хитрости и фантазии надо, чтобы использовать в качестве сырья для построения политических планов несправедливость и унижения, уготованные самой судьбой? Этих бывших детей без родителей нетрудно было научить ненавидеть других, всех других, у кого родители как-никак были. В их случае для классовой ненависти не нужны были аргументы и демонстрации по той простой причине, что для них на земле существовало два класса: класс счастливых семей и класс тех, у кого семьи не было. И поскольку они были наказаны абсолютно безо всякой вины и отведены ко второму классу, им, естественно, не казалось несправедливым наказывать, в свою очередь, других, тех, что были счастливы, не сделав ничего, чтобы заслужить счастье. И, может быть, это выставление себя напоказ, когда они играли, по сути, роль статуй, было подготовкой к будущему победному кортежу. Им ничего не приходилось делать по той простой причине, что даже при одном взгляде на них другие не смели вздохнуть свободно. Тот факт, что прохожие в испуге ускоряли шаг при виде их, возможно, удовлетворял их чувство мести за унижения и страдания, выпавшие им без их вины, а эта месть — в такой степени, в какой те, кто ее запрограммировал, не могли даже и предполагать — входила теперь в их должностную инструкцию.

После того как я узнала об этой устрашающей находчивости, связанной с их родословной, я вспомнила, как много лет назад одна моя приятельница, которая работала библиотекаршей в Доме ребенка, уговорила меня пойти на встречу с сиротами, поговорить с ними, рассказать им что-то на свой выбор, почитать

стихи, в общем, внушить им чувство, что они не одни в мире. Я пошла, полная сочувствия и любопытства, ни на секунду не предполагая, что мне предстоит экзистенциальный опыт, так глубоко задевающий, что я никогда его не забуду. Детей было несколько десятков, может быть, пятьдесят с лишним, от трех-четырех до, скажем, шести лет, и они играли с самыми разными кубиками, фигурками, куклами, плюшевыми зверушками в зале, где стены были украшены сценами из сказок и цветами. Все было спокойно, светло, никакого драматизма, может быть, с некоторым излишком афишируемой ласки. В тот миг, когда я вошла в зал, не успела еще моя приятельница библиотекарша меня представить, как все дети бросили свои игрушки и занятия и с визгом накинулись на меня, пытаясь обнять и поцеловать, отталкивая друг друга и чуть не убивая с ног и меня, выкрикивая одно и то же слово с такой страстью и накалом, что в первые мгновенья я даже не смогла понять его. Они как будто скандировали какие-то слоги или даже пели. Потом я разобрала слово. Слово было *мама*, и они не выкрикивали его просто так, но звали этим словом меня. С трудом удалось приглушить эту бурю, и я смогла пройти и сесть на стул, таща за собой огромную сороконожку, которая тесно обернулась вокруг меня. Некоторым удалось вцепиться в меня обеими руками, некоторые впились в юбку и свитер только одним кулачком, а самые невезучие, и оттого самые настойчивые и голосистые, держались только за тех, что держались за меня. Таким образом составилось большое общее тело, что-то вроде чудища, чьей головой была я — в окружении десятков и десятков других головок, притиснутых друг к другу, одна возбужденнее другой, и, поскольку я начала им читать и шуметь было больше нельзя, они почти беззвучно шевелили губами, выговаривая слово, которое, не переставая, вертелось у них в уме. Я чувствовала себя виноватой, хотя знала, что не смогла бы быть мамой их всех, и я чуть не плакала от жалости к этим существам, у которых вроде бы не было недостатка ни в чем, за исключением одного, о чем, может быть, они только то и знали, что его у них нет. Не знаю, слушали ли они то, что я им рассказывала и что я им читала, или их больше занимало, как бы меня не отпустить или как бы не потерять место рядом со мной, уступив его тем, кто оказался дальше всех и пропихивался вперед.

Так или иначе, расставание было по-настоящему драматичным. Они не хотели меня отпускать. Как только я кончила говорить, снова начали они. «Хочешь быть моей мамой?», «Ты возьмешь меня домой?», «Я буду себя хорошо вести, если ты возьмешь меня с собой». Они говорили все разом, почти одно и то же и с таким видом, как будто не замечали, что и другие говорят

то же, каждый ждал только ответа для себя. У меня было ощущение, что их пронзительные глаза меня связывают и обездвиживают, как тонкие, но крепкие нити, которые я никак не решаюсь порвать, а когда, наконец, я все же вырвалась и ушла, поспешно закрыв дверь, меня охватило чувство, что совершила одну из самых гадких вещей в своей жизни. Я узнала после, что эта сцена повторялась при каждом приходе новой гостьи, что не убавило ей драматизма, но смягчило мое чувство вины. И все же я не только не забыла об этой странной встрече, но и — хотя не припомню, что когда-нибудь признавалась в этом, — она имела некоторую, может быть, не совсем адекватную связь с тем, как определилась позже моя судьба. И как, помню, через много лет на Франкфуртской книжной ярмарке я не могла удержаться от вопроса к себе, зачем мне писать, если уже есть столько книг, так после той душераздирающей встречи со страданием сирот, таким глубоким и незаслуженным, я спрашивала себя, зачем надо становиться родителями и делать других детей, если есть столько детей, которые ждут родителей. Видя «ребят с Каля Викторией», я не могла себе представить как они просятся, чтобы их забрали *домой,* и не могла не содрогнуться, думая, что за дьявольский ум сообразил манипулировать этим бедным идеалом, происходящим из глубин любви и надежды несчастных детей, заменив для них родительский дом учреждением ненависти, стирающим разницу между определением жертвы и палача… И постыжусь ли я признаться, что, когда я проходила по Каля Викторией, в моем любопытстве, перехлестывающем через край, смешивались, в почти равных долях, страх и сочувствие?

Понимаю, что надо завершить этот эпизод, тяжелый и неудобоваримый из-за количества использованных ингредиентов, сценой скорее комической. Эта шутка, конечно, горчит, но все же в пункте, где зло становится смешным, оно автоматически теряет в невыносимости. Мы были на море, в Писательском доме и, как каждый вечер, прогуливались все вместе по узкой набережной, прорезанной посреди склона над пляжем, фланируя взад и вперед на тех нескольких сотнях метров между нашей виллой и стеной, откуда начиналась запретная зона. Беседующие группы пересекались, смешивались, обсуждали свободно и в полный голос самые разные проблемы, потому что все мы были хорошо знакомы, коллеги, друзья, и, странно, хотя в принципе мы знали, что стукачи есть, мы не портили себе каникулы, осторожничая или пытаясь их *вычислить.* Такова была атмосфера, когда на прогулке среди нас появился незнакомец, видимым образом пытавшийся держать ухо востро, но пребывающий в замешательстве от обилия тем и тасующихся групп и явно

страдающий из-за того, что не может решить, за кем следить. Положение у него было, без сомнения, комическим, а задача — легко определимая, так что нам приходилось изо всех сил сдерживать смех, когда мы скрещивали на нем глаза. Но усилия наши ни к чему не привели, и все превратилось в хохот, неостановимый и возобновляемый снова и снова при взгляде на него — когда один из нас обратил внимание на его ботинки: это были неподражаемые ботинки ребят с Каля Викторией. Остаток каникул, как в комедии-буфф, мы провели, гуляя с опущенными глазами, чтобы выявить и других носителей ботинок. Что было нелегко, но игра стоила свеч. Встречаясь за ужином, мы рапортовали друг другу о найденных ботинках и в скором времени даже затеяли конкурс по обнаружению ботинок. Теперь, после всего что я узнала о писателях из отчетов Национального совета по изучению архивов секуритате (CNSAS), впору повеселиться, представляя, сколько литературных рапортов породило наше развлечение.

На автобусной остановке

Это было в январе 1993-го в Страсбурге. Я ждала автобуса, чтобы доехать от центра города в Совет, до которого было довольно далеко. Шел проливной дождь, и я укрылась под навесом автобусной остановки, где на скамье сидел еще один человек. Мы с первого же мгновения почувствовали солидарность против дождя, во всяком случае, переглянулись с симпатией и как бы поприветствовали друг друга. Это был старый господин, худощавый, с правильными чертами лица, со смуглой кожей, вида удивительно благородного, не то чтобы аристократ, не то чтобы интеллектуал, хотя ни то ни другое не исключалось, но от него веяло чем-то древним, прародительским, пришедшим из глубины времен. Индиец, подумала я и, насколько это позволяли приличия, стала поглядывать на него с чувством, что могу созерцать таким образом время — не время одной жизни или одного поколения, но гораздо больше — само время. Впрочем, и он поглядывал на меня, возможно, заметив мои взгляды, и даже в какой-то момент улыбнулся мне, что крайне невыгодно исказило черты его лица, вдруг перешедшего в другой регистр, попроще — более современный и плебейский.

Потом, как будто это имело отношение к улыбке, он вынул из кармана картонку, засунутую в целлофановый пакетик, где неуклюжими печатными буквами, на очень приблизительном французском, было написано, что он цыган из Румынии, где цыган преследуют, и он просит помощи, чтобы обосноваться во Франции, где уважают права человека.

Я сидела и держала картонку в замешательстве, понимая всю комичность ситуации, но не в силах преодолеть зазор между впечатлением и реальностью. На миг мне захотелось вернуть ему картонку без единого слова, но в конце концов чувство юмора и симпатия, которую внушил мне этот персонаж с первой минуты, одержали верх, и я сказала ему, улыбаясь:

— Я тоже румынка.

— Вот те на, — откликнулся он без тени удивления или конфуза, — везет же мне. Вокруг француз на французе, а я наткнулся на румынку.

Мы оба в порыве взаимной симпатии рассмеялись, чем, возможно, я и обязана последующему разговору и откровенностям.

— Вы давно во Франции? — спросила я.

— Да года три уже.

— С тех пор многое изменилось в стране. И у вас есть две или

три партии… Вы могли бы вернуться и бороться… — И, тонко улыбнувшись, добавила: — Против преследований…

— Ну-ну, давай без этого. — И он забрал у меня из рук картонку. — Жить-то надо… Крутимся, как можем…

— И тут крутиться лучше, чем в Румынии?

— Тут лучше, богатства больше, только и тут нелегко…

Последовала пауза, и я сочла нужным ее заполнить:

— Вы живете в Страсбурге?

— Да нет, — ответил он, как будто бы удивленный вопросом. И продолжил несколько загадочно: — Мы тут проездом.

— Проездом куда? — спросила я наугад.

Тут он ударился в откровенности, которые я хочу здесь привести, — они удивили меня не только и не столько своим содержанием, сколько тем обстоятельством, что этот человек открылся мне. Я пропустила два автобуса, слушая его.

Он рассказал, что обосновался в Лионе со всем семейством, где жил на социале и занимался разным шахер-махером. Время от времени французские власти вызывали его и предлагали определенную сумму денег, чтобы он покинул страну (если правильно помню, хотя не очень в этом уверена, речь шла о 700 франках), и билеты на поезд до границы. Они получали деньги и давали подписку, что больше не вернутся на территорию Франции. Операция могла совершаться с одним человеком или могла охватить всю семью, многочисленную, и в этом случае сумма получалась внушительной. Попав в Германию, они тут же пересаживались в поезд, следующий во Францию, и возвращались нелегально через несколько часов. Нелегально — это сильно сказано, потому что, за отсутствием границ, никакого контроля не было. Затем они останавливались в каком-нибудь городе и представлялись в полицию, заявляя, что потеряли или что у них украли документы, и получали новые, на другое имя. Через некоторое время их вызывали под этим новым именем и предлагали им покинуть территорию Франции в обмен на некоторую сумму денег, билет до границы и с обещанием, что они больше не вернутся. Попав в Германию, они пересаживались на поезд, идущий в обратном направлении, останавливались в другом городе, представлялись в полицию и так далее. Не знаю, как скоро крутилась эта карусель, но мой новый знакомый исполнял этот ритуал в четвертый раз. Сейчас он как раз снова въехал во Францию, выехав накануне вечером, и должен был направиться в Лион, где ему предстояло выполнить все необходимые формальности.

Я смотрела на него, удивляясь, не без восхищения.

— А французы что ж, ни о чем не подозревают? — спросила

я, как спрашивала в детстве, слушая сказки про могучих обманутых змеев.

— Не подозревают. Потому что они уважают права человека. И не могут возражать против свободы передвижения.

— Но вы-то нарушаете обещания и издеваетесь над ними и над их законами, — не удержалась я, не желая, правда, ни обидеть, ни оскорбить его.

— У каждого народа свои законы, — закруглил он дискуссию, не обидевшись и с чувством собственного достоинства.

Действительно, добавить тут было нечего. Показался мой автобус, — третий с тех пор, как мы вступили в разговор, — и мы попрощались, я поблагодарила его за откровенность, мы пожелали друг другу удачи.

Я не предприняла никаких попыток проверить истинность признаний человека, который с первой минуты пробудил во мне симпатию, симпатию, которая не исчезла и после того, как были подорваны ее основы.

Автобус отвез меня к Совету Европы, который как раз и был континентальным центром прав человека, а я думала — не без томительного чувства, — как относительны эти права и официальные связи между разными категориями людей, когда не только сильные манипулируют слабыми, но и слабые умеют сделать себе отличное оружие из манипуляции тех, которых не могут — в справедливой борьбе — победить. Но, в конце концов, что значит *слабый* и что значит *сильный* в случае с этим первозданным народом, который тысячелетиями сохраняет нетронутыми самоопределение, ментальность и обычаи в полном пренебрежении к законам других и к попыткам других изменить их, с иммунитетом не только к любой манипуляции, но и к любому прогрессу. В мире, который все в большей мере становится жертвой собственных идей, альтруизма и иллюзий, этот иммунитет, питаемый глубинным отказом от изменений, есть настоящая сила.

Засим я и прибыла в Совет Европы.

Гриб на половичке

Связь между нами и грибами оказалась в конце концов и с политическим выростом, чему помогало — как, впрочем, это и было, по моему мнению, запрограммировано — экзистенциальное, кроме всего прочего, значение, которое грибы имели в нашей жизни. Это случилось некоторое время спустя, после того как меня снова запретили в 88-м, стояло начало осени, и мы зачастили в лес. На самом деле, каждый раз происходила борьба между удовольствием (пойти за грибами) и долгом (остаться и писать), и каждый раз долг оказывался побежденным лицемерным и прагматичным аргументом, что надо добывать еду. А может быть, мы безотчетно пользовались этой невинной радостью как терапией против нарастающего напряжения. В том году было так много сыроежек (белесых крепышей с зеленоватой или рыжеватой шляпкой), что они залезли и во дворы. Даже у нас в саду выросла одна необыкновенной величины, и, похоже, она не собиралась останавливаться в росте. Мы договорились с соседями, когда она стала больше тарелки, что не будем ее трогать, посмотрим, на что она способна. Пока что она была диаметром с торт.

Мы как раз собирались в очередной рейд по лесу, прежде чем засесть за работу, и закрывали калитку, нагруженные пустыми корзинками и сумками, когда в конце улицы появился бегущий сторож, посланный примарией сказать, что им позвонили из Бухареста, чтобы «мы быстро приезжали, потому что у нас затопило квартиру». Мы бросили корзинки, заперли дом и сели в машину. Но поскольку только у моей сестры был номер телефона примарии на случай форс-мажора, мы сначала остановились у почты — узнать, в чем дело. Связь с Бухарестом, до которого было 40 километров, устанавливалась тогда еще через телефонистку, телефонистку мы еле разыскали, она была во дворе. Джета — которую было слышно, как с другого конца света, — сказала, что ей позвонили наши нижние соседи с сообщением, что «у нас из-под двери хлещет вода». Она тут же поехала к нам домой, было очевидно, что прорвало трубу, но странным образом не смогла войти, дверь в подъезд, про которую никому бы не пришло в голову, что она может запираться, была изнутри заперта на засов. Она кричала, жала на звонок соседей, которые ее оповестили, чьи окна были открыты и чьи голоса были слышны, но Они не ответили, она позвонила им из автомата, они не взяли трубку. В конце концов она ушла, поняв, что дело тут посложнее, чем прорванная труба.

Мы поехали в Бухарест, добрались до дому, подъезд уже не был заперт, а из нашей квартиры не текло ни капли воды. Все было нормально, за исключением телефонного звонка соседей. Мы позвонили им в дверь, они открыли, мы спросили, зачем они придумали эту историю с водой, когда совершенно очевидно, что никакой протечки не было. Они появились в дверях оба, старые, довольно-таки ветхие, с парой пекинесов, высовывающих лохматые головы между их лодыжками в допотопных гетрах, натянутых на шлепанцы. У них был такой вид, как будто их напрасно побеспокоили — пока он смотрел на нас с недоуменным любопытством, она коротко ответила, что, *вероятно,* им показалось, грассируя, как каждый раз, когда она хотела подчеркнуть, что принадлежит к «хорошему обществу», которое выше или, уж во всяком случае, вне критериев общества нынешнего.

«Что значит — вам показалось?» — чуть не сорвалось у меня с языка, но я тут же поняла, что добавить им будет нечего, тем более что — если все это выдумка — смысл этой выдумки мог быть только в том, чтобы выманить нас на несколько часов из деревенского дома, который подлежал обыску. Так что мы спешно вернулись в Коману во власти скорее ярости, что нами манипулируют с такой наглостью, чем во власти страха. Скрывать нам было нечего, кроме тетрадей, с которыми мы и так никогда не расставались, но мы ощущали бесчестье, Позор, бесстыдное глумление над собой, потому что не привыкли еще к тотальной подозрительности, к абсолютному недоверию. Вернувшись, мы, разумеется, нашли все перевернутым вверх дном, три комнатки нашего каркасного дома и дощатый амбар, превращенный в кабинет, были завалены книгами, лежниками, старой одежей, глиняными тарелками, Керосиновыми лампами, кувшинами, ведрами, газетами, лекарствами — все перемешанное в устрашающем и — как бы это сказать? — демонстративном беспорядке. Потому что такой кавардак был явно учинен не случайно, но специально, продуманно. Он казался целью, а не результатом усилий, тут не искали что-то, а именно громили дом. Единственной целью, вероятно, было произвести на нас впечатление, испугать. В тот миг, когда меня осенило этим почти льстящим ощущением зрителя, для чьих глаз был устроен такой декор, моя ярость сразу улеглась: если мы не испугались, манипуляция обойдется дороже им, чем нам. Я вышла во двор и, без всяких особых мыслей, пошла в сад. Огромный грибище исчез, а из-за проволочной ограды соседка Никулина смотрела на меня виновато, как мне показалось, или, может быть, испуганно.

— Тетушка Никулина, — сказала я с усталым упреком, —

разве мы не уговаривались его не срывать, посмотреть, до каких размеров он дотянет?

Но я еще не кончила фразу, а Никулина уже расплакалась и пустилась в объяснения, которые я с трудом понимала.

— Я знала, я верно знала, что вы заметите, я им так и сказала, что вы, как приедете, сразу заметите. Я возилась на огороде, глядь, двое верзил перепрыгнули через задний забор и бегут по саду, я даже не увидела, что они и гриб прихватили. Я думала, они пришли своровать газовый баллон, они стерегут, пока хозяева отъедут, и я давай на них кричать: вы что делаете на чужом дворе, проваливайте, ежели не хотите, чтоб я вызвала милицию, а им хоть бы что, подошли ко мне и говорят, чтоб я помалкивала, ежели хочу, чтобы сына оставили на службе и чтоб я не вздумала вам чего сказать, мне это, дескать, так не пройдет, они, дескать, предупреждают, и вошли в дом, и я слышала, как они там стучат и грохочут, уж не знаю, что они там испортили, а когда уходили, мне еще раз крикнули, что, если я кому что скажу, мне каюк, а я знала, что вы увидите, как приедете.

Пока мы наводили порядок и уже почти успокоились, Р. — с его утомительной привычкой не упускать из виду ничего — пришла мысль, что обыск был только предлогом, чтобы закамуфлировать установку микрофонов, то есть теперь нам нельзя говорить и в этом доме. Впрочем, он позвал меня во двор, чтобы поделиться предположением, которое должно было усложнить нам жизнь и здесь. Не исключено, что он был прав, но в то же время мне казалось, что одержимость не пасть добычей микрофонов еще более невыносима и даже опасна, чем игнорирование их — пусть себе, если они есть, записывают все, что им вздумается. В конце концов, нам надо было выбирать: вести ли регистрируемую жизнь или не жить вовсе. В ходе разговора я поняла, что на самом деле мы уже проиграли, независимо от того, насколько логичной была моя аргументация. Я знала не только то, что мы вошли в новую стадию эскалации безумства, но и то, что манипуляция им удалась, с протечкой или без, с обыском или без, с микрофонами или без, им удалось нас взбудоражить, выбить из колеи, продемонстрировать, что они имеют над нами, по крайней мере психологически, власть.

Через неделю, когда мы поехали в Бухарест купить хлеба, под нашей дверью, аккуратненько поставленный на половичок, нас ждал гриб.

Это был один из тех немногих случаев, когда нам стало по-настоящему страшно. Именно из-за абсурда. Мы вспомнили, что у Р. был рассказ в стиле абсурда, где гриб разрастался в квартире у одной семьи. Однако семья спаслась, разрезав гигантский гриб и

пустив его в продажу, превратив все это в бизнес и даже в судьбу: они получали ученые звания в области культивирования грибов, основали институт микологических исследований, обеспечили страну протеинами, комната гротескного чуда была помещена под хрустальный купол, как ценнейшая реликвия. Рассказ появился в «Ромыния литерарэ» без всяких последствий, но, когда он вышел в книге, «Лучафэр» поместил на него рецензию, где рассказ был сочтен издевательством над народом, который сумеет ответить на оскорбление.

Но это было только привходящим обстоятельством. Что испугало меня, так это лукавый, подкорковый, на уровне внушения характер всего происшествия. Это как если бы они нам сказали: вы знаете, что мы знаем, что вы знаете, но вам не надо забывать, что и мы знаем, что вы знаете, что мы знаем.

Машина у ворот

Не припомню с точностью момент, когда она появилась напротив наших ворот, — в те времена, когда в Бухаресте было гораздо меньше автомобилей, чем сейчас, и на улице мест для парковки в изобилии, — эта белая шкода, а в ней женщина лет тридцати-сорока, крепкая без полноты, с бесцветной кожей и с длинными, пышными, очень черными волосами, рот четко и широко очерчен ярко-красным, как на базарных картинках, где полагалась еще обнаженная грудь и роза в зубах. Это было, конечно, после того вечера 30 августа 1988-го, когда я узнала, что меня опять запретили, но, вероятно, должно было пройти немало дней, чтобы ее присутствие показалось неслучайным. Я помню, однако, что заметила ее не я и даже не Р., куда как более внимательный и подозрительный, чем я, а соседка. Она обратила наше внимание на это странное присутствие; странное, потому что женщина сидела, точно по расписанию, восемь часов, не двигаясь и даже ничем не занимаясь: не читала, не вязала, не слушала радио, прибывала в восемь и отбывала в шестнадцать, как бы тщательно исполняя не очень-то легкую обязанность. Вообще-то она прибывала не одна, ее привозил на пост молодой человек, который скрывался в направлении Дома радио и возвращался через восемь часов. Тут не было ничего загадочного: молодой человек наверняка работал на радио и приезжал на работу на машине. Загадка начиналась вместе с вопросом: почему жена считала себя обязанной не только сопровождать его, но и поджидать восемь часов в неподвижности, в жару или в холод. А если речь шла не об этом и связь между ними была чисто профессиональной (мужчина был всего лишь шофером женщины, привозящим ее на службу, а «служба», как предполагали соседи, состояла в том, чтобы надзирать за нами), загадка становилась бесконечно более интригующей, потому что тогда вставал вопрос, каким образом она за нами следила — если сидела неподвижно в машине, из которой можно было увидеть нас, только когда мы выходили и возвращались или к нам кто-нибудь приходил, и почему она следила за нами только восемь часов из двадцати четырех. Было ясно одно: именно потому, что логика ее присутствия была ущербной, и именно потому, что оставались разного рода знаки вопроса, которые хотелось разрешить, женщина из машины превратилась, на долгие шестнадцать месяцев, что она простояла перед нами, в навязчивый персонаж, который без конца побуждал нас к предположениям и выводам. Иногда строго логическим, иногда, в силу страха,

фантастическим.

Первый вопрос: почему было выбрано такое сложное и мазохистское решение, если гораздо проще было бы подговорить кого-то из соседей рапортовать о наших выходах из дому. Поскольку организаторов нельзя было заподозрить в отсутствии фантазии или в непрофессионализме, оставалось заключить, что использование машины, населенной таким видимым, ярким существом, имеет другую подоплеку. Сам собой напрашивался вывод, что как раз *видимость* стояла тут на первом месте, творя напряжение по всей улице, не только у нас, и без больших усилий осуществляя то, что на специальном языке называлось «ломкой антуража». Потому что и вправду в скором времени не только соседи старались торопливо перейти на другую сторону, когда им не везло встретиться с нами, но и друзья постепенно перестали нас навещать.

Так что, хотя женщина и сидела неподвижно в машине, сейсмическим волнам ее присутствия удалось подорвать нашу социальную жизнь до самых корней, делая ставку на коллективную психологию, день ото дня усиливая бездонные нюансы страха. Помню, что до определенного времени действие, производимое на других, было сильнее, чем на нас, и в связи с этим не могу забыть одно происшествие — такое оно произвело на меня впечатление, хотя на первый взгляд могло показаться комическим. Как-то раз днем, возвращаясь домой, я встретила музыканта, который, сделав запись на радио, оставил машину через дорогу от нас. Поскольку нас давно связывала взаимная интеллектуальная симпатия, мы проговорили много минут подряд, пока я не сказала в шутку, что, надеюсь, нас не слышит женщина в машине, стоящей в нескольких метрах за моей спиной. Не знаю, что на меня нашло, так или иначе, шутка доказывала, что меня не так уж угнетает ситуация, о которой, как я думала, все знали, да и я сама не стеснялась рассказывать направо и налево о машине перед домом (позже я сообразила, что моя болтливость, которую я считала формой неприятия и несотрудничества, обернулась против меня, производя на других устрашение и вызывая ответные запрограммированные действия). В любом случае, реакция того, с кем я тогда разговаривала, меня потрясла: он посмотрел, куда я ему указывала, и, даже не попрощавшись, не дав мне закончить фразу, бросился бежать, оставив незапертой машину, куда как раз собирался садиться и которую осмелился забрать только ночью.

Что касается меня, то присутствие женщины стало устрашающим с того момента, когда кто-то объяснил мне, что существуют аппараты, которые могут подслушивать на

расстоянии десятков или даже сотен метров то, что происходит за стеной, и что очевидным образом все, что мы говорили в доме, слушала женщина в машине, оказывающаяся таким образом гораздо более занятой, чем я думала. Не помню, кто сказал мне это, и сейчас думаю, что речь шла об интоксикации, предназначенной, чтобы выбить меня из беззаботности, которой меня благословил Господь, и бросить в ад страхов, распространенных на всех. Я даже спрашиваю себя, сейчас уже весело, какой смысл имели бы все их усилия, так сложно задуманные, если бы им не удалось меня запугать (а я без труда могу представить себе такую ситуацию)? Однако с того момента мы действительно месяцами не говорили в своем доме иначе как шепотом или знаками, не потому что все время надо было говорить вещи, не предназначенные для чуткого уха секуритате, а потому что мысль, что они могут услышать самое невинное восклицание или даже просто «Хочешь еще кофейку?» наполняла меня чувством унижения и бесчестья. Хорошей стороной этой ситуации, которая легко могла кончиться неврозом, было то, что нам не оставалось ничего, кроме как писать, и, вопреки всему, что случилось с нами в течение 89 года, в тот год мы написали больше и, думаю, лучше, чем раньше, поскольку письмо стало прямо-таки альтернативой жизни и даже формой спасения. Это период, когда я написала большую часть романа «Ящик с аплодисментами»: он рождался день за днем из поставляемого нам ежедневно сырья и таким образом придавал смысл абсурду и переживаниям, смысл и резон, благодаря которым их гораздо легче было перенести. Подзаголовок, который был придан книге через несколько лет на презентации ее немецкой версии («Die Applausmaschine») — «Книга, которая спасла мне жизнь», — имел, помимо расчетов маркетинга, именно это значение.

Но больше, чем само присутствие женщины, ее *программа* открыла черные дыры всех подозрений: кто из соседей, в течение двух других осьмушек времени, делал то, что делала она? Или были другие — какие? — приемы, с помощью которых за нами следили в остальное время? Иногда я думала, что, если главная цель тут — профилактическая, создание страха, который запретил бы даже помыслить о сопротивлении, может, и не нужно было покрывать слежкой все наше время полностью, довольно было, чтобы мы были уверены в этом покрытии. Сейчас я убеждена, что была неправа и что тщательность, с какой они работали, намного превышала наше воображение. Впрочем, после 89 года я узнала, что кое-кого, кто шел к нам, задерживали еще на углу и советовали повернуть назад. Что пугало — это не сам запрет, а то, что люди были разгаданы в своем намерении

навестить нас, хотя от угла они могли пойти к любому другому дому на улице. Трудно сказать, следили ли за ними, чтобы перехватить заранее, или просто следили за всеми прохожими на нашей улице, но так или иначе это означало, что женщина в машине была не единственной. Впрочем, несколько раз, когда какой-то форс-мажор заставлял ее покинуть пост, ее сменял потешный толстячок, который хуже переносил ситуацию: то и дело вылезал из машины, вертелся вокруг нее с таким видом, что хочет уйти. Она, женщина, вела себя поответственнее, а в большую жару или в мороз — просто героически. Часто мне становилось жаль ее и хотелось предложить стакан холодной воды летом или горячего чая зимой. Я не сделала этого, потому что это выглядело бы вызывающе, даже если я была далека от таких мыслей.

Поскольку мы старались как можно больше времени жить в Комане, где надзор, даже если он существовал, был не так очевиден, нам было любопытно, стоит ли машина с женщиной на своем месте в наше отсутствие. Мы узнали, что нет. Но когда бы мы ни возвращались из Команы, мы находили женщину при исполнении обязанностей, как будто она не делала никакого перерыва. Единственным объяснением было то, что, когда мы выезжали из Команы, эта весть передавалась в Бухарест, и к нашему приезду женщина занимала свой наблюдательный пост. Чтобы проверить свое предположение, раз, будучи в Комане, мы дождались, пока стемнеет и все соседи лягут спать, после чего, толкая, вывели машину со двора, не включая зажигание, дотолкали под горку до конца улицы, откуда повернули к лесу, в сторону, противоположную центру села и, сделав крюк, выехали на трассу, никого не встретив. В Бухаресте оставили машину на параллельной улице и вернулись домой, не поднимая шума и не зажигая света. Мы уснули с чувством, что играем в плохом фильме про подпольщиков, но утром, встав поздно и победно открыв окна, не нашли постовой машины на своем месте. Она появилась примерно через час после нашего показательного пробуждения — с видом, как мне показалось, побитым. Не исключено, что нам от этого стало только хуже, но, при всей бесполезности нашего демарша, мы убедились, по крайней мере, что никто из соседей на нашей деревенской улице нас не предал, хотя при желании могли бы: проснулись бы очень рано, как обычно, — а нашей машины уже нет во дворе. И все же никто не донес, раз машина с женщиной появилась много позже, после констатации свершившегося факта. Вывод, по меньшей мере, ободряющий, один из немногих успокоительных сюрпризов, которые выпадали нам в тот период.

Попадая впросак

«Когда, почему и сколько раз я попадала впросак?» — вот вопрос, ответ на который — не тот же, что на вопрос «Сколько раз я допускала просчет?» Потому что хотя попадаешь впросак по большей части в результате просчета (многие ли из нас имеют твердость или безумие заранее обдумывать ситуацию, где они окажутся в неловком положении?), случались в моей жизни моменты, когда я, как какой-нибудь мазохист, сама выбирала для себя эту роль. Роль, которую сама выстраивала для себя и знала с самого начала, чем все обернется, а иногда просто входила в нее, не задумываясь или именно просчитавшись, не сразу сообразив что к чему, но из упрямства не отказывалась от замысла, даже самого нелепого. А случались другие ситуации, где нелепое не было очевидным, но таилось в глубине, неприметное, и раскрывалось только потом, как трагическое семя вещей.

Помню пример, прекрасно иллюстрирующий этот последний вариант, — долгую и драматическую дискуссию с коллегой, литературным критиком, на тему, которая меня не отпускала. Помню место, где мы встретились, — на лестнице, в здании журнала, где он был редактором, а я — постоянным автором, и помню, как я была рада встрече, потому что как раз хотела поделиться с ним своей дилеммой. Речь шла о борьбе с цензурой, которую я вела за правду каждого слова и каждой строчки, но, когда я побеждала, правда в силу изощренной логики превращалась в ложь. Если в конце концов удавалось напечататься, отсюда выводилось заключение, что печататься можно, то есть ценой неимоверных усилий ты давал сертификат на свободу несвободному обществу. Победа — почти через абсурд — публикация книги, где ты пытался сказать правду, становилась аргументом — чем более убедительным, тем более пагубным — в пользу лжи о свободе. Только если бросить бороться с цензурой и, значит, не публиковаться, станет видным истинное лицо диктатуры. Не публиковаться, выходит, честнее, чем публиковать самые честные страницы? Но это означало бы выбрать полную тьму, угасание всего, смерть культуры. Что предпочтительнее? Что правильнее? Может быть, последний выбор, назовем его «выбор зеро», если и был в состоянии изобличить истинное положение вещей, по сути, был бы выбором победы небытия?

Меня так мучили вопросы, я так спешила их выложить, что не следила за реакцией собеседника, а в ту минуту, когда остановилась, меня обескуражило, как он, явно скучая, уклоняется от ответа. Через несколько дней я узнала, что он

уехал за границу и там остался, а через несколько лет — что он сотрудничал с секуритате.

Пример совсем другого типа — это когда я сама себя поставила в неловкое положение, которое восприняла как граничащее с героизмом (восприятие, конечно, еще нелепее, чем бредовая ситуация, на краю которой оно расцвело).

Стояла осень 96-го, было воскресенье в разгар предвыборной кампании. Мы запланировали поехать на ярмарку скота в Телеорман, поговорить с крестьянами. Для этого надо было встать на рассвете, чтобы приехать заранее, и я еще помню чувство абсурдности, когда проснулась по звонку будильника, открыла глаза и посмотрела в окно: было почти темно и шел дождь. Зачем надо было вылезать из теплой постели и выходить под дождь? Кто меня принуждал? Зачем это было нужно? Совершенно очевидно, все зависело от меня, я не выставляла свою кандидатуру, ничего не выигрывала, что не помешало мне, однако, чувствуя себя подгоняемой нелепостью, встать, надеть резиновые сапоги, приготовленные с вечера, сесть в машину и поехать на встречу, за несколько сот километров отсюда, с какими-то незнакомыми людьми, чтобы убедить их проголосовать за других незнакомых людей. И пока я машинально следила глазами, как щетки ходят по переднему стеклу, разгоняя потоки воды, я вспомнила другую встречу в одном селе в жудеце Дымбовица несколько дней назад, когда один старый крестьянин поднялся с места на собрании в бывшем культурном центре (сейчас наполовину дискотека, на четверть мини-маркет) и, кстати, уважительно начав с *добро пожаловать*, обратился прямо ко мне:

— Госпожа Бландиана, мы рады, что вы приехали в наше село, потому как мы вас давно знаем, с тех пор как услышали про вас по «Свободной Европе», и знаем, что вас изучают дети в школе, но господ, с которыми вы приехали к нам, мы не знаем. Ежели вы скажете голосовать за них, мы проголосуем, потому как вам мы верим, но ежели они не сдержат слова, мы с вас спросим, почему они его не сдержали, потому как их мы не знаем. До сих пор-то мы голосовали за господина Илиеску и верили ему, а он нам такое измывательство устроил… И откуда нам знать, может, нам такое же устроят и те, что с вами?

После чего он сел на место, ожидая ответа. Установилось молчание, которое нельзя было проигнорировать, и все головы повернулись ко мне. Я, в свою очередь, посмотрела на тех, рядом с которыми сидела: я знала только нескольких из них, тех, с кем приехала из Бухареста. И, по-моему, я впервые внимательно поглядела на них, как впервые была вынуждена задуматься, что я

здесь делаю. Кандидатом был бывший политзаключенный, историк по профессии. Мы встретились глазами, и я поднялась на ноги. Я начала с того, что призналась в открытии, сделанном в ту минуту: я никогда так категорически не думала о своем участии в предвыборной кампании, не думала, что мне придется подписывать своим именем списки кандидатов и что я тоже не знаю всех, с кем сижу сейчас за столом, покрытым красным холстом, уцелевшим, вероятно, от партийных собраний периода до 89-го. Но существенное отличие между разными персонажами, которые приходят, чтобы сесть за этот стол и набирать голоса, состоит не в разных обещаниях — возможно, крайне похожих друг на друга, — которые они дают по этому случаю, и не в одних и тех же словах — демократия, благосостояние, перемены, истина, правосудие, — которые произносят все, но в качестве, в биографиях этих людей. По-разному можно верить бывшему партийному активисту, который был вынужден лгать, подольщаться, рапортовать о вымышленном урожае с гектара, а теперь выступает в поддержку идей, ранее им отвергаемых, и бывшему политзаключенному, который предпочел сесть в тюрьму, нежели от своих идей отречься. И кончила тем, что назвала справедливой мысль — надо отвечать за тех, за кого своим присутствием я ставлю подпись.

Но в то темное утро, пока я следила за маниакальным движением щеток по переднему стеклу, припомнившийся мне эпизод не показался таким однозначным.

Ярмарка скота — это несколько сот квадратных метров клейкой, глубокой грязи, куда сапоги проваливались, как вантузы, и каждый шаг приходилось вытягивать почти с болью. Под моросящим дождем располагались телеги, прицепы, фургоны, лошади, коровы, свиньи, овцы и, разумеется, люди, накрывшиеся полиэтиленовой пленкой, как плащами, или с мешками на головах, прикрывающими от дождя, как монашеские капюшоны. Я смотрела на них, и я смотрела на тех, с кем приехала и кто переходил от одной группы к другой, раздавая буклетики, в которых были напечатаны идеи, превращенные в лозунги, листовки и флажки с ключом[4], портреты Кандидата, которые, намокая под дождем, почти сразу превращались в жалкие тряпочки, и крестьяне стояли, держа их в руках и не зная, что с ними делать. «Это смешно», — подумала я, но в тот же миг подумала, что на этих бумажонках были записаны именно мои идеи, которые не могли воплотиться, иначе как войдя в головы, прикрытые мешками, защищавшими их от дождя. И еще я спросила себя, что бы я отдала десять лет назад, чтобы свободно говорить с крестьянами на такой вот ярмарке, иметь возможность

сказать им все, что я думаю, иметь возможность передать им все, во что я верю.

И пока, скользя и спотыкаясь, я с трудом пробиралась к группе, теснящейся вокруг одной телеги с овцами в связке, пока начала говорить, я вдруг сообразила, что меньше чем через неделю буду в Гвадалахаре, в Мексике, на Международном ПЕН-конгрессе в качестве единственного кандидата, предложенного французским и английским ПЕН-центрами для председательства в мировой организации писателей. Что подбавляло абсурда ситуации, причем такого абсурда, когда в нелепость вкраплялись тревожные нюансы.

Еще припоминаю, как горячо защищала, на заседаниях Демократической Конвенции, где представляла Гражданский альянс, решения аргументированные и явно имеющие всеобщий интерес, и, пока я говорила, члены других партий слушали меня бесстрастно, но с некоторым раздражением, нетерпеливо ожидая, когда я закончу, просто-напросто отвергая меня, неколебимые в отвержении. У них были интересы, у меня — только идеи. Я слышала свой голос, звучащий все упрямее и упрямее, и не могла не видеть, одним глазом, со стороны, что я смешна. И все же я не сдалась.

Сейчас я думаю, что тот и другой опыт, при всем их различии, но при равной трудности, был формой не только мазохизма, но и свободы. Что может послужить не только объяснением, но и извинением.

Сегодня, когда я смотрю по телевизору политическую жизнь и борьбу, наблюдая персонажей таких низких и грязных, что о них можно испачкаться, просто следя взглядом, при всем отвращении и презрении, которые они внушают, и при том ужасающем в своей очевидности факте, что от них зависит судьба страны, единственное мое утешение — в том, что все эти люди действуют за пределами моего мира, что я не знаю лично никого из них, что не могу на них повлиять, но и не отвечаю ни за кого из них. А то обстоятельство, что существовал в моей жизни период, когда я верила, что все это можно изменить и что за эти изменения я могу чем-то пожертвовать в моей судьбе, кажется мне не только нелепым и глупым, но и просто-напросто постыдным. Не о своей наивности я сожалею, но о вовлеченности в мир, чье прикосновение меня загрязняло, и я осознавала, что загрязняет, но считала это необходимой жертвой. Эту вовлеченность я ощущаю и теперь, почти два десятилетия спустя, как признак деградации.

…И снова я вспоминаю долгие заседания Демократической конвенции, где я наблюдала за ораторами, когда они говорили.

Их было две, абсолютно разных, категории: бывшие политзаключенные и члены их партий, молодые. Они существенно отличались не только возрастом, но и речью, построением фраз, даже дикцией, степенью культуры неподчеркнутой, почти подсознательной. Было видно, что у стариков — хорошая школа, у молодежи школа была почти не видна. Забавно было смотреть на одного, сделавшего себе вскоре взрывную политическую карьеру, он через каждые несколько слов полемики презрительно бросал: «Ну, это поэзия», уничтожая противника сим порочащим словом. Мое присутствие, как автора стихов, его не смущало, вероятно, он даже не задумывался, а может ли поэзия быть чем-то постыдным. Впрочем, и другой участник дискуссии, архитектор по профессии и будущий магнат, обронил, когда я победила в словесном поединке: «Так мне и надо, коли взялся обсуждать политику с поэтессой»…

Было очевидно, что мне не место в этом внекультурном мире, запущенном в ход механизмами, которые меня отталкивали, механизмами власти. И все же я не отступала, потому что не позволяла себе согласиться с мыслью, что мир нельзя изменить. И это упрямство, которое сейчас кажется мне нелепым, тогда казалось мне почти героизмом. Впрочем, это не в первый раз, что я открываю трагическое семя, кроящееся в сердцевине героизма.

«Проекты на прошлое», история о цензуре

Я думаю, что если бы я задалась такой целью, то могла бы написать целую книгу о публикациях каждого из сборников, вышедших у меня до до года. И хотя тема везде была бы одна — попытка, в конце концов успешная, обойти цензуру или проскользнуть у нее под носом, — я убеждена, что книга не вышла бы монотонной, поскольку и фантазия бдительности, и изворотливость ее жертв почти не знали границ.

Я выбрала историю о сборнике фантастических новелл «Проекты на прошлое» не потому только, что она была сложнее и, в некотором роде, сенсационнее, чем другие, но и потому, что это повесть не просто об одном случае цензуры, но повесть о цензуре вообще.

Я меньше помню историю написания книги, чем историю ее публикации. Написание вспоминается мне только как долгое состояние блаженства, когда я месяц за месяцем садилась за стол по утрам, читала последние полстранички, написанные накануне вечером, и начинала писать без страха, что не буду знать (я и вправду не знала), куда повернет сюжет, без той неуверенности, что давали мне всегда стихи, которые не становились моими только в силу того, что я их писала (должно было пройти время, чтобы, перечитывая, я выучивала их наизусть, и при каждом новом чтении с новым удивлением открывала почти незнакомые смыслы — только тогда уходило чувство, что они мне дарованы, и я могла притязать на их авторство).

Я вспоминаю этот по-настоящему счастливый период своей жизни, период написания фантастических новелл, как момент, с которого я начала чувствовать себя профессиональным писателем, персонажем, который сам задумывает и выстраивает свои страницы, а не приемником, который способен улавливать чудо непонятных сигналов, ищущее прибежища в словах. Это не означает, что одна новелла, например, не была записью моего сна tale quale. Я и сейчас помню, как проснулась в экзальтации и начала говорить, еще не встав с постели, как будто мне надо было передать послание, которое я боялась забыть, но Р. не стал слушать, принес мне бумагу и ручку и сказал «пиши, я узнаю, что тебе приснилось, когда прочту», и я начала писать, не торопясь и не прерываясь, сидя в шезлонге и давая листкам падать в траву, пока не закончила писать рассказ, последние страницы были почти неразборчивы, не только потому что свет убывал,

смеркалось, но и потому что рука устала выводить слова. Прошло 11 часов. И когда я остановилась, мне показалось, что я только что проснулась. Новелла должна была называться, не без связи с обстоятельством, повлиявшим на ее появление, «Имитация кошмара». Другие же новеллы, напротив, соскальзывающие в фантастику после первых абзацев, родились из какого-то зерна не только реалистического, но и чисто документального. Арест целой свадьбы, которым начинаются «Проекты на прошлое», произошел на самом деле в ту ужасную ночь на Троицын день 1951 года, а случай перемещения церкви в селе Субпятра я нашла в одной из историй о горах Апусени. Но не это важно, важно то, что я закончила эту книгу с чувством, что она мне принадлежит и, более того, что она меня выражает в большей мере, чем другие, и в то же время — с мучительным чувством унижения, оттого что надежды на публикацию почти нет. Именно поэтому, когда я отнесла рукопись, как всегда, в «Картя Ромыняскэ» и стала ждать вердикта, я была глубоко благодарна всем тем, кто — от редактора книги до директора издательства — подписали одобрение публикации, отослав книгу на высшие ступени, где она затерялась в непроницаемых тучах цензуры. И именно поэтому я не поверила себе, когда через некоторое время, не помню, сколь долгое, пришел ответ с пресловутым и желанным штампом **П**, отпечатанным на каждой странице.

Здесь мне, вероятно, надо остановиться, чтобы попробовать объяснить, и себе в том числе, некоторые нюансы.

Первое объяснение, которое я могу дать сейчас, как и тогда, — не все (но сколькие?) из тех, что подписали одобрение, читали книгу. Рецензия, поданная вначале, с самого низового уровня, от редактора, составленная нарочито банально, деревянным языком, усыпляющим бдительность, об отражении красот нашей родины, убедительно подсказывала, что книга серая, по крайней мере, по тематике, и, возможно, позволила подписать ее, не читая, как заведующему отделом, так и директору издательства. А директором издательства был Марин Преда. Далее, как я предполагаю, на рукопись в сопровождении рецензии из *армированного бетона,* как тогда говорили, и с тремя-четырьмя подписями, среди коих и подпись Преды, смотрели без придирок, и она переходила со ступени на ступень почти формально.

Я никогда не знала, сколько ступеней у цензуры, ни до 1977 года, когда она называлась дирекцией прессы, ни позже, когда легально ее больше не существовало, а оставался не облеченный в форму монстр, как ядовитый туман, по неосторожности приблизясь к которому, ты невольно и безнадежно его вдыхал. Я

знала только ступени внутри издательств, с предназначением быть барьерами не только эстетическими, но и идеологическими, но они — по крайней мере, в случае с «Картя Ромыняскэ» — были населены писателями, которым самим, как авторам собственных книг, надо было защищаться от цензуры. Таким образом, как ни странно, притом что все были румыны, возникала солидарность, которая, может быть, была просто сообщничеством, однако, случалось, не только действовала эффективно, но и предлагала — мне, во всяком случае, — точку поддержки и сопротивления, средство против безнадежности и депрессии. Не то что все было прозрачно и что редактор, прикидываясь дураком и рискуя, когда писал занудливые и клишированные под лозунги рецензии, объяснял автору, зачем он это делает. Нет, все действовали молчком, не существовало даже знака наподобие рыбы, как у христиан древности. Было только чувство, что, если не хочешь сойти с ума, надо противиться безумию всеми подручными средствами. Что иногда помогало, иногда нет. Потому что никогда не было известно, как будут реагировать те, что вне поля нашего зрения. Нужна была и удача. И мне везло до определенного момента. Я говорю, конечно, только о судьбе этой книги. Хорошо помню, что мне не верилось в такую большую удачу. Я радовалась гораздо сильнее, чем какой-либо другой своей книге, которая получила визу, может быть, потому что тут ждала ее меньше всего. Я так радовалась, что потеряла обычный контроль над жестами, позволила себе ослабить оборону, которую всю жизнь старалась, по мере сил, держать. Вот в этот миг удача от меня и отвернулась. Конец первого акта.

Конкретно речь идет о том, что журнал «Вяца Ромыняскэ» попросил у меня что-нибудь для публикации, «цикл стихов, если можно». А я ответила, что у меня нет нового цикла стихов (он был, но без всяких шансов на публикацию, я знала, а после большого скандала со стихами из «Амфитеатру» мне казалось, что не к месту устраивать эксперименты). «Но я могла бы дать новеллу, — сказала я неосторожно, — она только что пошла в типографию в сборнике фантастических рассказов, и ни один не опубликован». И, не слишком раздумывая, выбрала «Птицу потребительскую». В качестве продолжения: через недолгое время руководству «Вяца Ромыняскэ» объявили, что типографщики отказываются набирать мою враждебную и полную клеветы в адрес нашей социалистической жизни новеллу. Напуганный главный редактор попробовал спасти положение дел и закрыть дискуссию, заявив, что речь идет о рассказе, который входит в сборник, в «Картя Ромыняскэ», он уже отдан в типографию и имеет все визы для публикации. В результате был заблокирован и

весь сборник.

Более двух десятилетий спустя, когда шахтеров призвали против Университетской площади, мне выпало несколько дней странного чувства дежавю, которым я была одержима, не в силах его определить. Мне казалось, что я переживала когда-то нечто подобное, мне казалось, что не в первый раз я сталкиваюсь с таким типом манипуляции. И вдруг я вспомнила: типографщики! Типографщики, изобретенные в качестве заменителя цензуры, которой больше не существовало как институции, а с позиций закона не существовало вообще. Тот же тип противопоставления одной социальной категории другой, создающий миф разногласия, которого на самом деле не было. Различие состояло в том, что тогда выдумка казалась мне менее убедительной, потому что каждый раз, как я попадала в типографию, я испытывала гордость и солидарность, когда наборщики останавливали меня сказать, что им понравилась такая-то страница, которую они набирали — литеру за свинцовой литерой. Схожесть ситуации заставила меня написать — еще когда я не знала обстоятельств и деталей минериады[5] июня 1990-го — что шахтеры — жертвы минериады, по крайней мере, в той же степени, в какой мы, потому что нам выпало только подвергнуться репрессиям, тогда как ими манипулировали, чтобы репрессии осуществить. Я думала о масштабной манипуляции, о чудовищной социальной инженерии, которая превращала простых и беззащитных, с идеологической и интеллектуальной точек зрения, людей в бессознательные орудия ненависти, природы которой они не понимали, но которая вбирала их неудовольствие и обостряла их ярость. Шахтеры ли, типографщики ли — все они были заведомо скомпрометированы употреблением имени их профессии в злокозненных целях, о которых они не подозревали.

Когда я узнала историю с типографщиками и блокировкой книги, я молниеносно перешла от одного состояния к другому: на миг мне показалось, что это нормально, что я, в общем-то, всегда знала, что книга эта це сможет появиться, и сразу затем — бессильный гнев, направленный и против себя самой, вздумавшей испытать удачу, натянувшей струну больше, чем она позволяла, что разрешило мне ненадолго вести себя естественно, не думая о последствиях, забыв про осторожность. Конец второго акта.

Затем, в декабре 1981 года, на адрес Союза писателей пришло письмо из Венского университета, которым я уведомлялась, что мне присудили премию Гердера и что церемония вручения состоится через шесть месяцев, 12 мая 1982 года.

А если конкретней: я возвращалась от мамы по улице

Бузешти, стоял день грязной зимы, какая может быть только в окрестностях Северного вокзала, я спешила домой, когда меня окликнули с той стороны трамвайной линии. Это была чиновница из иностранного отдела Союза писателей, она пропустила машину и, перейдя ко мне, сказала, что меня уведомили письмом о получении премии Гердера. Я так удивилась, что не спросила, откуда она знает содержание письма, если оно адресовано мне. Она попросила зайти взять письмо и предупредила, что надо написать свое согласие и благодарности. Я была настолько ошарашена, что единственное, что мне пришло в голову, — это спросить, как я могла получить премию, если книга не вышла, как будто только за нее меня и могли премировать. Впрочем, все казалось мне неуместным и странным, премия Гердера, хотя ее получил и Никита Стэнеску, была, по мне, премией для стариков, премией для Аргези, для Филиппиде. Так или иначе, удивление намного превосходило радость, а радость не могла по интенсивности сравниться с чувством катастрофы от блокировки книги.

Следующие полгода прошли скорее под знаком этого поражения, чем под знаком успеха, тем более что успех становился все нереальнее, расплывчатее, даже сомнительнее. Я, правда, переписывалась с ректоратом Венского университета, и даже появилось несколько кратких объявлений и заметок, но чем ближе становился месяц май, тем больше таяла вероятность, что я получу выездную визу из страны. В какой-то момент я была настолько не уверена, что попаду в Вену, что отклонила предложение говорить на церемонии от имени лауреатов в качестве самого молодого лауреата из истории премии. Лет через двадцать пять я случайно узнала, что сохранила еще этот странный статус, так что мое впечатление о том, что это была премия для завершенных судеб, куда я странным образом угодила, оказалось не таким уж абсурдным.

Впрочем, когда я в последнюю минуту все же попала в Вену (а эпизод отъезда в Вену относится к другой истории, которую мне еще надо будет написать), меня все время путали со стипендиатами, которых лауреаты должны были представлять, и мне приходилось объяснять, наполовину польщенной, наполовину смущенной, что вообще-то я сама — лауреат премии. Потом, когда все кончилось и мы вернулись в отель, я нашла письмо, которым меня известили, что возобновлена печать «Проектов на прошлое» и до моего возвращения домой книга будет уже в магазинах. Как бы это ни показалось странным, если надо было бы выбрать момент, который в хронологии моей памяти называется «Премия Гердера», это был бы не момент,

когда я узнала новость о ее присуждении мне, и не барочный и торжественный момент церемонии, а именно весть о разблокировке книги, давшая мне наконец право порадоваться успеху. Конец третьего акта.

Эпилог. Нет, эпилог — не то. Потому что больше ничего не случилось, кроме того, что эта книга стала наиболее переводимой из моей прозы. И все же я хочу кое-что добавить. Я сказала вначале, что история отношений с цензурой этой книги есть в своем роде история цензуры вообще. Не говоря уже о том, что извивы произошедшего представляют собой нечто вроде диаграммы функционирования самого тонкого и специфического из механизмов подавления — закручивания и раскручивания гаек, этот событийный ряд охватывает почти весь инвентарь методов, используемых против свободы выражения, но также и методов, с помощью которых, в определенных условиях, им можно было противостоять. Начну с последних. Первая часть, получение командой «Картя Ромыняскэ» визы на публикацию книги — волнующий момент, означающий, что, когда люди в состоянии сотрудничать, солидаризоваться, вступать в заговор против лжи, рисковать, быть самими собой, это может застопорить механизмы зла. Нужна была, несомненно, и толика удачи, но прежде всего нужны были чуткость и способность понять, что риск — одна из координат определения интеллектуала. Эта солидарность в принятии на себя риска, которую дали мне почувствовать коллеги из «Картя Ромыняскэ», эквивалентна по простоте и эффективности действию, которое может иметь знак креста против дьявола. Естественный вопрос, который тут рождается: почему, если такая реакция столь проста и эффективна, она удовлетворилась тем, чтобы быть исключением, и не стала правилом?

Обращение к типографщикам, перенос ответственности — дабы преступить одно из самых важных прав человека — с институций на людей, с палачей на жертв, очень многое говорит не только о методах коммунистической цензуры в Румынии, но и о коварстве и трусости тех, кто осуществлял подавление (не обязательно интеллектуального типа). Впрочем, эта манипуляция с переносом есть перверсивное выражение ненависти к интеллектуалам, ненависти, проистекающей из самого ядра идеи равенства и еще из осознания того, что речь идет о постыдном деянии, о котором нельзя заявлять во всеуслышание, которое приличнее закамуфлировать под волю масс. Правда, в тени институции, скрывавшейся за волей масс, были обычно зависть, ревность, комплексы неполноценности людей из плоти и нервов, которые заботились о том, чтобы выявить проявления свободы,

удачливости, рисковости и просить их запрета. Не знаю, кто включался между одобрением книги в «Картя Ромыняскэ» и выдумкой про типографщиков в «Вяца Ромыняскэ», но зато знаю, что в случае стихов из «Амфитеатру» и в случае книжки для детей речь шла о конкретных доносах, первый происходил из сферы журнала «Сэптэмына», второй из одной библиотеки Сучавского уезда.

Наконец, взять к примеру, как они — после того как возникла премия Гердера, этот Deus ex machina с предназначением усложнить им жизнь, — через шесть месяцев сомнений не посмели помешать мне участвовать в церемонии, где председательствовал, по традиции, президент Австрии. Они трусливо подались назад, отвели войска, лишь бы не услышать мою декларацию о том, что я получила премию, но моя последняя книга не одобрена к печати. Немногое вызывает у меня такую брезгливость, как страх тех, кто выбрали целью карьеры производить страх. И к победам моей жизни я приписываю моменты — их больше, чем может показаться, — когда те, кому не удалось меня испугать, в итоге пугались сами. Потому что они были сильны только до тех пор, пока другие были слабы; в тот момент, когда им оказывалось малейшее сопротивление, они начинали дрожать от страха перед начальниками, которым придется рапортовать о своем провале, так что их страх перед моей победой над ними был больше, чем мой страх перед их победой надо мной, ведь я была единственным получателем своих провалов или успехов, тогда как они были только звеном в цепочке, предназначенной связать нас всех, начиная с тех, кто этой цепочкой управлял. Когда я все это уразумела в последующие годы, притом что на горизонте постепенно становилось все темнее и безнадежнее, я поняла, что достаточно один-два раза отказаться написать то, о чем меня просили (в парадное издание или в специальный праздничный номер), чтобы в самое короткое время они удостоверились, что я буду отвечать отказом на все подобные просьбы, а рисковать, получая отказ, они не могли, потому что им было страшно об этом докладывать. В сказках и в глубинах истории — гонцам, которые приносили дурные вести, отрубали голову. Не отголоском ли этому — поведение тех, кто, после получения отказа, завидев меня, опускали глаза и переходили на другую сторону улицы? Так или иначе, я давно, с детства, знала, что, если не хочешь, чтобы тебя покусали собаки, не бойся, что покусают, а позже я прочла даже научное объяснение феномена: страх производит запах, которого мы не чувствуем, а собаки чувствуют, — запах, привлекающий насилие.

Момент публикации «Проектов на прошлое» был для меня полезным поводом изучить механизмы, через колесики которых я должна была пройти, чтобы существовать как писатель, и задуматься, хочу ли я и дальше биться над этой замысловатой задачей по выживанию.

notes

Примечания

1

Родное село Чорана. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

2

Название холма, эпоним Рэшинари, малой родины Чорана, по простонародному женскому имени Боака.

3

Слова из эссе Аны Бландианы «О природе творчества».

4

Символ Румынской демократической конвенции.

5

Минериада (miner — по-румынски шахтер) — разгон с помощью шахтеров большого митинга против диктатуры и за создание правового государства. Митинг продолжался 50 дней в мае-июне 1990-го на Университетской площади Бухареста.